

Сага о Форсайтах

Автор:

Джон Голсуорси

Сага о Форсайтах

Джон Голсуорси

Эксклюзивная классика (АСТ)

«Сагу о Форсайтах» Голсуорси писал более 15 лет. Поистине не имеющий аналогов по масштабности цикл, охватывающий жизни не одного поколения семьи Форсайт и их ближайшего окружения. Неоднократно служившая основой для телесериалов и фильмов, эта эпическая семейная сага, с одной стороны, поднимает острые социальные вопросы, а с другой – рассказывает о судьбах людей, чьи жизненные перипетии не оставят никого равнодушным. Яркие характеры, неожиданные сюжетные повороты, любовь и страсть, сметающие все на своем пути, сплетни, козни, интриги, тайны, – вот основа успеха этой никогда не устаревающей книги.

Джон Голсуорси

Сага о Форсайтах

Предисловие автора

Название «Сага о Форсайтах» предназначалось в свое время для той ее части, которая известна теперь как «Собственник», и то, что я дал его всей хронике семьи Форсайтов, свидетельствует о чисто форсайтской цепкости, присущей всем нам. Против слова «сага» можно возражать на том основании, что в нем

заключено понятие героизма, а героического на этих страницах мало. Но оно употреблено с подобающей случаю иронией; а кроме того, эта длинная повесть, хоть в ней и говорится о веке процветания и о людях в сюртуках и турнюрах, не лишена страстной борьбы враждебных друг другу сил.[1 - © Перевод. М. Лорие, наследники, 2019.]

Несмотря на гигантский рост и кровожадность, которыми наделяет предание героев древних саг, они по своим собственническим инстинктам были очень сродни Форсайтам и так же беззащитны против набегов красоты и страсти, как Суизин, Сомс и даже молодой Джолион. И хотя в нашем представлении эти герои никогда не бывших времен сильно выделяются среди своего окружения – вещь неприемлемая для Форсайта времен Виктории, – мы можем с уверенностью предположить, что родовой инстинкт и тогда был главной движущей силой и что семья, домашний очаг и собственность играли такую же роль, какую играют сейчас, несмотря на все разговоры, с помощью которых их стараются в последнее время свести на нет.

Столько людей в своих письмах ко мне утверждали, будто прототипами Форсайтов послужили именно их семьи, что я почти готов поверить в типичность этой разновидности человеческого рода. Нравы меняются, жизнь идет вперед, и «Дом Тимоти на Бейсуотер-роуд» в наше время попросту немыслим во всех отношениях; мы не увидим больше такого дома, не увидим, возможно, и людей, подобных Джемсу или старому Джолиону. А между тем отчеты страховых обществ и речи судей изо дня в день убеждают нас в том, что наш земной рай – и теперь еще богатый заповедник, куда украдкой совершают набеги Красота и Страсть, чтобы среди бела дня похитить у нас наше спокойствие. Как собака лаает на духовой оркестр, так же все, что есть в человеческой природе от Сомса, неизменно и тревожно восстает против угрозы распада, нависшей над владениями собственничества.

«Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов» – это изречение было бы убедительнее, если бы прошлое когда-нибудь умирало. Живучесть прошлого – одно из тех трагикомических благ, которые отрицает всякий новый век, когда он выходит на арену и с безграничной самонадеянностью претендует на полную новизну. А в сущности, никакой век не бывает совсем новым. В человеческой природе, как бы ни менялось ее обличье, есть и всегда будет очень много от Форсайта, а он в конце концов еще далеко не худшее из животных.

Оглядываясь на эпоху Виктории, расцвет, упадок и гибель которой в некотором роде представлены в «Саге о Форсайтах», мы видим, что попали из огня да в полымя. Нелегко было бы доказать, что в 1913 году положение Англии было лучше, чем в 1886 году, когда Форсайты собрались в доме старого Джолиона на празднование помолвки Джун и Филипа Босини. А в 1920 году, когда весь клан снова собрался, чтобы благословить брак Флер с Майклом Монтом, положение Англии стало чересчур расплывчатым и безысходным, точно так же, как в 80-х годах оно было чересчур застывшим и прочным. Будь эта хроника научным исследованием о смене эпох, мы, вероятно, остановились бы на таких факторах, как изобретение велосипеда, автомобиля и самолета; появление дешевой прессы; упадок деревни и рост городов; рождение кино. Дело в том, что люди совершенно не способны управлять своими изобретениями; в лучшем случае они лишь приспосабливаются к новым условиям, которые эти изобретения вызывают к жизни.

Но эта длинная повесть не является научным исследованием какого-то определенного периода; скорее она представляет собой изображение того хаоса, который вносит в жизнь человека Красота.

Образ Ирэн, которая, как, вероятно, заметил читатель, дана исключительно через восприятие других персонажей, есть воплощение волнующей Красоты,рывающейся в мир собственников.

Было замечено, что читатели, по мере того как они бредут вперед по соленым водам «Саги», все больше проникаются жалостью к Сомсу и воображают, будто бы это идет вразрез с замыслом автора. Отнюдь нет. Автор и сам жалеет Сомса, трагедия которого – очень простая, но непоправимая трагедия человека, не внушающего любви и притом недостаточно толстокожего для того, чтобы это обстоятельство не дошло до его сознания. Даже Флер не любит Сомса так, как он, по его мнению, того заслуживает. Но, жалея Сомса, читатели, очевидно, склонны проникнуться неприязненным чувством к Ирэн. В конце концов, рассуждают они, это был не такой уж плохой человек, он не виноват, ей следовало простить его, и так далее. И они, становясь пристрастными, упускают из виду простую истину, лежащую в основе этой истории, а именно, что если в браке физическое влечение у одной из сторон отсутствует, то ни жалость, ни рассудок, ни чувство долга не превозмогут отвращения, заложенного в человеке самой природой. Плохо это или хорошо – не имеет значения; но это так. И когда Ирэн кажется жестокой и черствой – как в Булонском лесу или в галерее Гаупенор, – она лишь проявляет житейскую мудрость; она знает, что малейшая

уступка влечет за собой невозможную, немыслимо унижительную капитуляцию.

Говоря о последней части «Саги», можно поставить в упрек автору, что Ирэн и Джолион – эти представители бунта против собственности – посягают, как на некую собственность, на своего сына Джона. Но, право же, это было бы уже чересчур критическим подходом к повести в том виде, в каком она дана читателю. Ни один отец, ни одна мать не позволили бы своему сыну жениться на Флер, не рассказав ему всех фактов; и решение Джона определяют именно факты, а не доводы родителей. К тому же Джолион приводит свои доводы не ради себя, а ради Ирэн, а довод самой Ирэн сводится к одному: «Не думай обо мне, думай о себе!» Если Джон, узнав факты, понимает чувства своей матери, это, по совести, едва ли можно считать доказательством того положения, что и она, в сущности, принадлежит к породе Форсайтов.

Однако, хотя главной темой «Саги о Форсайтах» являются набеги Красоты и посягательства Свободы на мир собственников, автор ее не может отвести от себя обвинение в том, что он в некотором роде забальзамировал класс крупной буржуазии. Как в Древнем Египте мумии окружали предметами, необходимыми умершим в загробной жизни, так я попытался наделить образы теток Энн, Джули и Эстер, Тимоти и Суизина, старого Джолиона и Джемса и их сыновей тем, что обеспечит им хоть малую толику жизни «будущего века», что явится каплей бальзама в стремительном потоке всерастворяющего «прогресса».

Если крупной буржуазии, так же как и другим классам, суждено перейти в небытие, пусть она останется законсервированной на этих страницах, пусть лежит под стеклом, где на нее могут поглазеть люди, забредшие в огромный и неустроенный музей Литературы. Там она сохраняется в собственном соку, название которому – Чувство Собственности.

1922 г.

Джон Голсуорси

...Ответ мне будет:

Рабы ведь эти наши.

Шекспир Венецианский купец

Часть первая

I

Прием у старого Джолиона

Тем, кто удостоивался приглашения на семейные торжества Форсайтов, являлось очаровательное и поучительное зрелище: представленная во всем блеске семья, принадлежащая к верхушке английской буржуазии. Если же кто-нибудь из этих счастливых обладал даром психологического анализа (талантом, который не имеет денежной ценности и поэтому не пользуется вниманием со стороны Форсайтов), глазам его открывалась картина, не только восхитительная сама по себе, но и разъясняющая одну из темных проблем человечества. Иными словами, сборище этой семьи, – ни одна ветвь которой не чувствовала расположения к другой, между любыми тремя членами которой не было ничего заслуживающего названия симпатии, – помогало внимательному наблюдателю уловить признаки той загадочной несокрушимой живучести, которая превращает семью в такое мощное звено общественной жизни, в такое точное воспроизведение целого общества в миниатюре. Этому наблюдателю представлялась возможность прозреть туманные пути развития общества, уяснить себе кое-что о патриархальном быте, о передвижениях первобытных орд, о величии и падении народов. Он уподоблялся тому, кто, следя за ростом молодого деревца, живучесть и обособленное положение которого помогли ему уцелеть там, где погибли сотни других растений, менее стойких, менее сильных и выносливых, в один прекрасный день видит его в самый разгар цветения покрытым густой, сочной листвой и почти отталкивающим в своей пышности.

Пятнадцатого июня 1886 года случайный наблюдатель, попавший около четырех часов дня в дом старого Джолиона Форсайта на Стэнхоуп-Гейт, мог увидеть лучшую пору цветения Форсайтов.

Прием был устроен в честь помолвки мисс Джун Форсайт – внучки старого Джолиона – с мистером Филипом Босини. Вся семья собралась здесь, блистая белыми перчатками, светло-желтыми жилетами, перьями и платьями; приехала даже тетя Энн, которая редко оставляла теперь уголок зеленой гостиной своего брата Тимоти, где она проводила целые дни за книгой и вязаньем, под сенью крашеного ковыля в голубой вазе, окруженная портретами трех поколений Форсайтов. Даже тетя Энн была здесь: негнувшийся стан и спокойное достоинство ее старческого лица воплощали в себе непоколебимый дух собственности, свойственный всей семье.

Когда Форсайт праздновал помолвку, свадьбу или рождение, все Форсайты бывали в сборе; когда Форсайт умирал... но до сих пор с Форсайтами этого еще не случилось – они не умирали. Смерть противоречила их принципам, и они принимали против нее все меры предосторожности, инстинктивной предосторожности, как делают очень жизнеспособные люди, восстающие против посягательств на их собственность.

Форсайты, смешавшиеся в этот день с толпой остальных гостей, казались более, чем обычно, парадными и блистательно респектабельными, в их самоуверенности было что-то настороженно-пытливое, они как будто нарядились для того, чтобы бросить кому-то вызов. Обычная презрительная гримаса, застывшая на лице Сомса Форсайта, отражалась и на их лицах: они были начеку.

Наступательная позиция, занятая ими бессознательно, стала некой психологической вехой в истории семьи и сделала прием у старого Джолиона прелюдией к их драме.

Форсайты протестовали против чего-то, и не каждый в отдельности, а всей семьей; этот протест выражался подчеркнутой безукоризненностью туалетов, избытком родственного радушия, преувеличением роли семьи и... презрительной гримасой. Опасность, неминуемо обнажающую основные качества любого общества, группы или индивидуума, – вот что чуяли Форсайты; предчувствие опасности заставило их навести лоск на свои доспехи. Впервые за все время у семьи появилось инстинктивное чувство непосредственной близости

чего-то необычного и ненадежного.

Около рояля стоял крупный, осанистый человек, два жилета облекали его широкую грудь – два жилета с рубиновой булавкой вместо одного атласного с булавкой бриллиантовой, что приличествовало менее торжественным случаям; его квадратное бритое лицо цвета пергамента и белесые глаза сияли величием поверх атласного галстука. Это был Суизин Форсайт. У окна, где можно было захватить побольше свежего воздуха, стоял близнец Суизина, Джемс, – «толстый и тощий», прозвал их старый Джолион. Как и Суизин, Джемс был более шести футов роста, но очень худой, словно ему с самого рождения суждено было искупать своей худобой чрезмерную дородность брата. Джемс стоял, как всегда сгорбившись, и хмуро поглядывал по сторонам; в его серых глазах застыла какая-то тревожная мысль, от которой он время от времени отвлекался и обводил окружающих быстрым беглым взглядом; запавшие щеки с двумя параллельными складками и выдававшуюся вперед чисто выбритую длинную верхнюю губу обрамляли густые пушистые бакенбарды. В руках он вертел фарфоровую вазу. Немного дальше его единственный сын Сомс, бледный, гладко выбритый, с темными редеющими волосами, слушал какую-то даму в коричневом платье, выпятив подбородок, склонив голову набок и скорчив вышеупомянутую презрительную гримасу, словно он фыркал на яйцо, зная наверное, что ему не переварить его. Позади Сомса его двоюродный брат, рослый Джордж, сын пятого по счету Форсайта – Роджера, с сардонической усмешкой на мясистом лице обдумывал очередную остроту.

В сегодняшнем событии таилось что-то такое, что задевало их всех.

В ряд, тесно одна к другой, сидели три леди: тети Энн, Эстер (обе – старые девы) и Джули (уменьшительное от Джулии), которая, будучи уже не первой молодости, настолько забылась, что вышла замуж за Септимуса Смолла – человека слабого здоровья. Она пережила его на много лет. Теперь Джули жила вместе со старшей и младшей сестрами на Бейсуотер-роуд в доме Тимоти – своего шестого по счету и самого младшего брата. Все три леди держали в руках по вееру, и каждая из них цветной отделкой на платье, ярким пером или брошью отметила торжественность дня.

Посередине комнаты под люстрой, как и подобало хозяину, стоял глава семьи, сам старый Джолион. Чудесная седая шевелюра, выпуклый лоб, маленькие темно-серые глаза и длинные седые усы, свисавшие намного ниже массивного подбородка, делали этого восьмидесятилетнего старика похожим на патриарха,

который, несмотря на худобу щек и запавшие виски, казалось, обладал секретом вечной юности. Он держался очень прямо, а его пронизательные спокойные глаза еще не утратили своего ясного блеска. Все это создавало впечатление, что старый Джолион – выше людской мелкоты с ее сомнениями и раздорами. Долгие годы он жил своим умом, тем самым закрепив за собой право на превосходство. Ему бы в голову не пришло, что надо выставлять напоказ свои сомнения и открыто бросать кому-то вызов.

Между ним и четырьмя остальными братьями, присутствовавшими здесь, – Джемсом, Суизином, Николасом и Роджером, – была и большая разница и большое сходство. В свою очередь, каждый из четырех братьев сильно отличался от остальных, и все-таки они были очень похожи друг на друга.

За разнообразием черт и выражений этих пяти лиц можно было подметить твердость подбородка как основу, поверх которой обозначались лишь несущественные отличия, как печать рода, слишком древнюю, чтобы можно было проследить ее возникновение, слишком знакомую и привычную, чтобы вдаваться в споры о ней, – истинную пробу и залог благосостояния семьи.

Младшее поколение: рослый массивный Джордж, бледный подвижный Арчибальд, молодой Николас с его мягкой, неназойливой настойчивостью, напыщенный, фатоватый Юстас – все были отмечены этой печатью, может быть, менее явной, но столь же бесспорной и свидетельствующей о том, что было неискоренимо в самом духе семьи.

Несколько раз на всех этих лицах, столь различных и столь схожих между собой, появлялось в тот день выражение недоверия, и объектом этого недоверия, несомненно, был человек, ради знакомства с которым они собрались здесь.

Всем им было известно, что Филип Босини – молодой человек без всякого состояния, но девушки из семьи Форсайтов и раньше обручались с такими людьми и даже выходили за них замуж. Значит, не это обстоятельство служило главным поводом для недоверия Форсайтов. Они не смогли бы объяснить, откуда взялась эта неприязнь, причины которой терялись где-то в тумане семейных пересудов. Во всяком случае рассказывалась такая история: будто бы он явился с официальным визитом к тетям Энн, Джули и Эстер в мягкой серой шляпе, к тому же далеко не новой и какой-то бесформенной и пыльной. «Так странно, милочка, такая экстравагантность!» Тетя Эстер (очень близорукая), проходя через маленький неосвещенный холл, хотела согнать шляпу со стула,

приняв ее за бродячую кошку, – Томми заводил себе таких сомнительных друзей! Она была сильно озадачена, когда «кошка» не двинулась с места.

Подобно художнику, который старается отыскать какую-нибудь выразительную мелочь, воплощающую в себе все самое характерное в ситуации, месте или человеке, так и Форсайты – бессознательные художники – чисто интуитивно ухватились за эту шляпу. Она-то и была для них той выразительной деталью, мелочью, в которой коренился смысл всего происходящего. Каждый из них задавал себе вопрос: «Ну а вот, например, я – пошел бы я с таким визитом да в такой шляпе?» И каждый отвечал: «Нет», а некоторые, наделенные бо?льшим воображением, добавляли: «Мне бы это и в голову не пришло!»

Джордж, услышав про шляпу, усмехнулся. Совершенно ясно, что Босини хотел пошутить! Джордж был любителем таких шуток.

– Заносчивый юноша, – сказал он, – настоящий пират!

И это mot[3 - Удачное словцо (фр.).] «пират» передавалось из уст в уста и наконец окончательно закрепилось за Босини.

После случая со шляпой все три тетки накинулись на Джун:

– Как ты позволяешь ему такие выходки, милочка?

Джун не замедлила ответить тем властным тоном, каким всегда говорило это крохотное существо – воплощение воли:

– Ну и что ж такого? Филу совершенно безразлично, что носить!

Никто не поверил столь дикому ответу. Безразлично, что носить? Нет, нет!

Но что же представлял собой этот молодой человек, который сделал столь удачный шаг, обручившись с Джун – наследницей старого Джолиона? Он был архитектор, но ведь это недостаточная причина, чтобы носить такую шляпу. Среди Форсайтов архитекторов не было, но кто-то из них знал двух архитекторов, которые никогда бы не явились с официальным визитом в такой шляпе в самый разгар лондонского сезона. Подозрительно, да, очень

подозрительно!

Джун, конечно, ничего особенного в этом не видела, хотя, несмотря на свои неполные девятнадцать лет, она слыла очень придирчивой особой. Разве не она сказала миссис Сомс, которая так прекрасно одевается, что перья вульгарны? И миссис Сомс действительно перестала носить перья. Вот что могла натворить маленькая Джун своей бесцеремонностью.

Однако ни опасения, ни скептицизм, ни самое откровенное недоверие не помешали Форсайтам собраться у старого Джолиона. Приемы на Стэнхоуп-Гейт стали большой редкостью; за последние двенадцать лет их не устраивали – да, ни одного приема с тех пор, как умерла старая миссис Джолион.

Никогда еще на Стэнхоуп-Гейт не было такого полного собрания. Каким-то таинственным образом сплотившись, несмотря на все свое различие, Форсайты вооружились против общей опасности. Словно стадо, увидевшее на лугу собаку, они стояли голова в голову, плечо к плечу, готовые кинуться и затоптать чужака насмерть. Они пришли сюда также и затем, чтобы разузнать, какие надо готовить подарки. Вопрос о свадебных подарках разрешался обычно так: «Что ты собираешься дарить? Николас дарит ложки». Но ведь от жениха тоже многое зависело. Если жених одет опрятно, даже щеголевато, и по виду состоятельный, ему нужно дарить хорошие вещи, ибо он на это рассчитывает. И в конце концов каждый дарил то, что следовало; список подарков устанавливался всей семьей примерно так же, как устанавливается курс на бирже, а детали разрабатывались на Бейсуотер-роуд в просторном, выходившем окнами в парк кирпичном особняке Тимоти, где жили тети Энн, Джули и Эстер.

Беспокойство Форсайтов вполне объяснялось уже одним упоминанием о шляпе. Какой нелепостью, какой ошибкой было бы для любой семьи, уделяющей столько внимания внешности (что вечно будет служить отличительной чертой могучего класса буржуазии), испытывать в этом случае что-либо, кроме беспокойства!

Виновник всего этого беспокойства стоял у дальней двери и разговаривал с Джун. Его кудрявые волосы были взъерошены – не оттого ли, что все вокруг казалось ему странным? К тому же он словно подсмеивался про себя над чем-то.

Джордж сказал потихоньку своему брату Юстасу:

– Он еще даст отсюда тягу, этот лихой пират!

«Странный молодой человек», как впоследствии назвала Босини миссис Смолл, был среднего роста, крепкого сложения, со смугло-бледным лицом, усами пепельного цвета и резко обозначенными скулами. Покатый лоб, выступающий шишками, напоминал те лбы, что видишь в зоологическом саду в клетках со львами. Его карие глаза принимали порой рассеянное, отсутствующее выражение. Кучер старого Джолиона, возивший как-то Джун и Босини в театр, выразился о нем в разговоре с лакеем так:

– Я что-то не разберусь в нем. Здорово смахивает на полудикого леопарда.

Время от времени кто-нибудь из Форсайтов подходил поближе, описывал около Босини круг и внимательно оглядывал его.

Джун, эта «копна волос плюс характер», как кто-то сказал про нее, эта крошка с бесстрашным взглядом синих глаз, твердым подбородком, ярким румянцем и золотисто-рыжими волосами, слишком пышными для такого узенького личика и хрупкой фигурки, стояла перед своим женихом, охраняя его от этого праздного любопытства.

Высокая, прекрасно сложенная женщина, которую кто-то из Форсайтов сравнил однажды с языческой богиней, смотрела на эту пару еле заметно улыбаясь.

Ее руки в серых лайковых перчатках лежали одна на другой, она склонила голову немного набок, и мужчины, стоявшие поблизости, не могли оторвать глаз от этого спокойного очаровательного лица. Ее тело чуть покачивалось, и казалось, что достаточно движения воздуха, чтобы поколебать его равновесие. В ее щеках чувствовалось тепло, хотя румянца на них не было; большие темные глаза мягко светились. Но мужчины смотрели на ее губы, в которых таился вопрос и ответ, на ее губы с еле заметной улыбкой; они были нежные, чувственные и мягкие; казалось, что от них исходит тепло и благоухание, как исходит тепло и благоухание от цветка.

Молодая пара, находившаяся под таким наблюдением, не замечала этой безмолвной богини. Архитектор, первым обратив на нее внимание, спросил, кто она.

И Джун подвела своего жениха к женщине с прекрасной фигурой.

– Ирэн – мой самый большой друг, – сказала она, – извольте и вы подружиться!

Выслушав приказание молоденькой хозяйки, они улыбнулись, и в эту минуту Сомс Форсайт безмолвно появился позади прекрасно сложенной женщины, которая была его женой, и сказал:

– Познакомь и меня!

Он редко оставлял Ирэн одну в обществе и, даже когда светские обязанности разъединяли их, следил за ней глазами, в которых сквозила странная настороженность и тоска.

У окна отец Сомса, Джемс, все еще разглядывал марку на фарфоровой вазе.

– Удивляюсь, как Джолион разрешил эту помолвку, – обратился он к тете Энн. – Говорят, что свадьба отложена бог знает на сколько. У этого Бо?сини (он сделал ударение на первом слове) ничего нет за душой. Когда Уинифрид выходила за Дарти, я заставил его оговорить каждый пенни – и хорошо сделал, а то бы они остались ни с чем!

Тетя Энн взглянула на него из глубины бархатного кресла. На лбу у нее были уложены седые букли – букли, которые, не меняясь десятилетиями, убили у членов семьи всякое ощущение времени. Тетя Энн промолчала, она берегла свой старческий голос и говорила редко, но Джемсу, совесть у которого была неспокойна, ее взгляд сказал больше всяких слов.

– Да, – проговорил он, – у Ирэн не было своих средств, но что я мог поделаться? Сомсу не терпелось; он так увивался около нее, что даже похудел.

Сердито поставив вазу на рояль, он перевел взгляд на группу у дверей.

– Впрочем, я думаю, – неожиданно добавил он, – что это к лучшему.

Тетя Энн не попросила разъяснить это странное заявление. Она поняла мысль брата. Если у Ирэн нет своих средств, значит, она не наделает ошибок; потому

что ходили слухи... ходили слухи, будто она просит отдельную комнату, но Сомс, конечно, не...

Джемс прервал ее размышления.

– А где же Тимоти? – спросил он. – Разве он не приехал?

Сквозь сжатые губы тети Энн прокралась нежная улыбка.

– Нет, Тимоти решил не ездить; сейчас свирепствует дифтерит, а он так подвержен инфекции.

Джемс ответил:

– Да, он себя бережет. Я вот не имею возможности так беречься.

И трудно сказать, чего было больше в этих словах – восхищения, зависти или презрения.

Тимоти и в самом деле показывался редко. Самый младший в семье, издатель по профессии, он несколько лет назад, когда дела шли как нельзя лучше, почуял возможность застоя, который, правда, еще не наступил, но, по всеобщему мнению, был неминуем, и, продав свою долю в издательстве, выпускавшем преимущественно книги религиозного содержания, поместил весьма солидный капитал в трехпроцентные консоли. Этим поступком он сразу же поставил себя в обособленное положение, так как ни один Форсайт еще не довольствовался меньшим, чем четыре процента; и эта обособленность медленно, но верно расшатала дух человека, и так уже наделенного чрезмерной осторожностью. Тимоти стал почти мифическим существом – чем-то вроде символа обеспеченного дохода, без которого немыслима форсайтская вселенная. Он не решился на такой неблагоприятный поступок, как женитьба, и ни при каких обстоятельствах не захотел обзаводиться детьми.

Джемс снова заговорил, постукивая пальцем по фарфоровой вазе:

– Не настоящий «Вустер». Джолион, наверное, рассказывал тебе про этого молодого человека. Насколько мне известно, у него нет ни дела, ни доходов, ни

сколько-нибудь серьезных связей; но я ведь ничего не знаю – мне никогда ничего не рассказывают.

Тетя Энн покачала головой. По ее старческому лицу с орлиным носом и квадратным подбородком пробежала дрожь; она стиснула свои худые паучьи лапки и переплела пальцы, как бы незаметно набираясь силы воли.

Старшая из всех Форсайтов, тетя Энн занимала в семье не совсем обычное положение. Беспринципные эгоисты – впрочем, не в большей степени, чем их ближние, – Форсайты пасовали перед неподкупной тетей Энн, а когда приходилось поступать уж очень беспринципно, им не оставалось ничего другого, как стараться избегать встреч с ней!

Заложив одна за другую свои длинные худые ноги, Джемс, все еще стоявший у окна, снова заговорил:

– Джолион, конечно, сделает по-своему. У него нет детей... – и запнулся, вспомнив о существовании сына Джолиона, молодого Джолиона, отца Джун, который натворил таких дел в прошлом и погубил себя, бросив жену и ребенка ради какой-то гувернантки. – Впрочем, – поторопился добавить Джемс, – пусть делает как знает, я думаю, он может себе разрешить это. А сколько он даст ей? Наверное, тысячу в год, ведь у него больше нет наследников.

Он протянул руку щеголеватому, чисто выбритому человеку с почти голым черепом, длинным кривым носом, полными губами и холодным взглядом серых глаз, смотревших из-под прямых бровей.

– А, Ник, – пробормотал он, – как поживаешь?

Николас Форсайт, подвижный, как птица, и похожий на развитого не по летам школьника (совершенно законным путем он нажил солидный капитал, будучи директором нескольких компаний), вложил в холодную ладонь Джемса кончики своих еще более холодных пальцев и быстро отдернул их.

– Скверно, – с надутым видом сказал он, – последнюю неделю чувствую себя очень скверно; не сплю по ночам. Доктор никак не разберет, в чем дело. Неглупый малый – иначе я не стал бы с ним возиться, – но, кроме счетов, я от него ничего не вижу.

– Доктора! – с раздражением сказал Джемс. – У меня в доме перебивали все, какие только есть в Лондоне. А проку от них? Наговорят вам с три короба, и только. Вот, например, Суизин. Помогли они ему? Полюбуйтесь, он стал еще толще – настоящая туша. Помогли они ему сбавить вес? Посмотрите на него!

Суизин Форсайт, огромный, широкоплечий, подошел к ним горделивой походкой, выставив вперед высокую, как у зобастого голубя, грудь во всем великолепии ярких жилетов.

– Э-э... здравствуйте, – проговорил он тоном денди, – здравствуйте!

Каждый из братьев смотрел на двух других с неприязнью, зная по опыту, что те постараются преуменьшить его недомогания.

– Мы только что говорили про тебя, – сказал Джемс, – ты совсем не худеешь.

Суизин напряженно прислушивался к его словам, вытаращив бесцветные круглые глаза.

– Не худею? У меня прекрасный вес, – сказал он, наклоняясь немного вперед, – не то что вы – щепки!

Но, вспомнив, что в таком положении его грудь кажется не столь широкой, Суизин откинулся назад и замер в неподвижности, ибо ничто так не ценилось им, как внушительная внешность.

Тетя Энн переводила свои старческие глаза с одного на другого. Взгляд ее был и снисходителен и строг. В свою очередь, и братья смотрели на Энн. Она сильно сдала за последнее время. Поразительная женщина! Восемьдесят седьмой год пошел, и еще проживет, пожалуй, лет десять, а ведь никогда не отличалась крепким здоровьем. Близнецам Суизину и Джемсу – всего-навсего по семьдесят пять. Николас – просто младенец – семьдесят или около того. Все здоровы, и выводы из этого напрашивались самые утешительные. Из всех видов собственности здоровье, конечно, интересовало их больше всего.

– Я чувствую себя неплохо, – продолжал Джемс, – только нервы никуда не годятся. Малейший пустяк выводит меня из равновесия. Придется съездить в

Бат.

– Бат! – сказал Николас. – Я испробовал Харроугейт. Ничего хорошего. Мне необходим морской воздух. Лучше всего Ярмут. Там я по крайней мере сплю.

– У меня печень пошаливает, – не спеша прервал его Суизин. – Ужасные боли вот тут, – и он положил руку на правый бок.

– Надо побольше двигаться, – пробормотал Джемс, не отрывая глаз от фарфоровой вазы. И поспешно добавил: – У меня там тоже побаливает.

Суизин покраснел и стал похож на индюка.

– Больше двигаться! – сказал он. – Я и так много двигаюсь: никогда не пользуюсь лифтом в клубе.

– Ну, я не знаю, – заторопился Джемс. – Я вообще ничего не знаю: мне никогда ничего не рассказывают.

Суизин посмотрел на него в упор и спросил:

– А что ты принимаешь против этих болей?

Джемс оживился.

– Я, – начал он, – принимаю такую микстуру...

– Как поживаете, дедушка?

И Джун с протянутой рукой остановилась перед Джемсом, решительно глядя на него снизу вверх. Оживление моментально исчезло с лица Джемса.

– Ну а ты как? – сказал он, хмуро уставившись на нее. – Уезжаешь завтра в Уэльс, хочешь навестить теток своего жениха? Там сейчас дожди. Это не настоящий «Вустер». – Он постучал пальцем по вазе. – А вот сервиз, который я подарил твоей матери к свадьбе, был настоящий.

Джун по очереди поздоровалась с двоюродными дедушками и подошла к тете Энн. На лице старой леди появилось умиленное выражение; она поцеловала девушку в щеку с трепетной нежностью.

– Значит, ты уезжаешь на целый месяц, дорогая!

Джун отошла, и тетя Энн долго смотрела вслед ее стройной маленькой фигурке. Круглые, стального цвета глаза старой леди, которые уже заволакивались пеленой, как глаза птиц, с грустью следили за Джун, смешавшейся с суетливой толпой, – гости уже собирались уходить; а кончики ее пальцев сжимались все сильнее и сильнее, помогая ей набраться силы воли перед неизбежным уходом из этого мира.

«Да, – думала тетя Энн, – все так ласковы с ней; так много народу пришло ее поздравить. Она должна быть очень счастлива».

В толпе у двери – хорошо одетой толпе, состоявшей из семей докторов и адвокатов, биржевых дельцов и представителей всех бесчисленных профессий, достойных крупной буржуазии, – Форсайтов было не больше двадцати процентов, но тете Энн все казались Форсайтами – да и разница между теми и другими была невелика – она всюду видела собственную плоть и кровь. Эта семья была ее миром, а другого мира она не знала; никогда, вероятно, не знала. Их маленькие тайны, их болезни, помолвки и свадьбы, то, как у них шли дела, как они наживали деньги, – все было ее собственностью, ее усладой, ее жизнью; вне этой жизни простиралась неясная, смутная мгла фактов и лиц, не заслуживающих особого внимания. Все это придется покинуть, когда настанет ее черед умирать, – все, что давало ей сознание собственной значимости, сокровенное чувство собственной значимости, без которого никто из нас не может жить, – и за все это она цеплялась с тоской, с жадностью, растущей день ото дня. Пусть жизнь ускользает от нее, это она сохранит до самого конца.

Тетя Энн вспомнила отца Джун, молодого Джолиона, который ушел к той иностранке. Ах, какой это был удар для его отца, для них всех! Мальчик подавал такие надежды! Какой удар! Хотя, к счастью, все обошлось без особенной огласки, потому что жена Джо не потребовала развода. Давно это было! А когда шесть лет назад мать Джун умерла, молодой Джолион женился на той женщине, и теперь у них, говорят, двое детей. И все-таки он утратил право присутствовать здесь, он украл у нее, у тети Энн, полноту чувства гордости за семью, отнял принадлежавшую ей когда-то радость видеть и целовать племянника, которым

она так гордилась, который подавал такие надежды! Память об этой обиде, нанесенной столько лет назад, отзывалась горечью в ее упрямом старом сердце. Глаза тети Энн увлажнились. Она украдкой вытерла их тончайшим батистовым платком.

– Ну, что скажете, тетя Энн? – слышался чей-то голос позади нее.

Сомс Форсайт, узкий в плечах, узкий в талии, гладковыбритый, с узким лицом, но, несмотря на это, производивший всем своим обликом впечатление чего-то закругленного и замкнутого, смотрел на тетю Энн искоса, как бы стараясь разглядеть ее сквозь препятствие в виде собственного носа.

– Как вы относитесь к этой помолвке? – спросил он.

Глаза тети Энн покоились на нем с гордостью: этот племянник, самый старший с тех пор, как молодой Джолион покинул родное гнездо, стал теперь ее любимцем; тетя Энн видела в нем надежного хранителя духа семьи – духа, который ей уже недолго осталось охранять.

– Очень удачный шаг для молодого человека, – сказала она. – Внешность у него хорошая. Только я не знаю, такой ли жених нужен нашей дорогой Джун.

Сомс потрогал край позолоченного канделябра.

– Она его приручит, – сказал он и, лизнув украдкой палец, потер узловатые выпуклости канделябра. – Настоящий старинный лак; теперь такого не делают. У Джобсона за него дали бы хорошую цену. – Сомс смаковал свои слова, как бы чувствуя, что они придают бодрости его старой тетке. Он редко бывал так разговорчив. – Я бы сам не отказался от такой вещи, – добавил он, – старинный лак всегда в цене.

– Ты так хорошо разбираешься во всем этом, – сказала тетя Энн. – А как себя чувствует Ирэн?

Улыбка на губах Сомса сейчас же увяла.

– Ничего, – сказал он. – Жалуется на бессонницу, а сама спит куда лучше меня, – и он посмотрел на жену, разговаривавшую в дверях с Босини.

Тетя Энн вздохнула.

– Может быть, – сказала она, – ей не следует так часто встречаться с Джун. У нашей Джун такой решительный характер!

Сомс вспыхнул; когда он краснел, румянец быстро перебежал у него со щек на переносицу и оставался там как клеймо, выдававшее его душевное смятение.

– Не знаю, что она находит в этой трещотке, – вспыхнул Сомс, но, заметив, что они уже не одни, отвернулся и опять стал разглядывать канделябр.

– Говорят, Джолион купил еще один дом, – услышал он рядом с собой голос отца. – У него, должно быть, уйма денег – не знает, куда их девать! На Монпелье-сквер, кажется; около Сомса! А мне ничего не сказали – Ирэн мне никогда ничего не рассказывает!

– Прекрасное место, в двух минутах ходьбы от меня, – слышался голос Суизина, – а я доезжаю до клуба в восемь минут.

Местоположение домов было для Форсайтов вопросом громадной важности, и в этом не было ничего удивительного, ибо дом олицетворял собой самую сущность их жизненных успехов.

Отец их, фермер, приехал в Лондон из Дорсетшира в начале столетия.

«Гордый Доссет Форсайт», так его называли близкие, был по профессии каменщиком, а впоследствии поднялся до положения подрядчика по строительным работам. На склоне лет он перебрался в Лондон, где работал на постройках до самой смерти, и был похоронен на Хайгейтском кладбище. После кончины отца десять человек детей получили свыше тридцати тысяч фунтов стерлингов. Старый Джолион, вспоминая о нем, что случалось довольно редко, говорил так: «Упорный был человек, кремень; и не очень отесанный». Второе поколение Форсайтов чувствовало, что такой родитель, пожалуй, не делает им особой чести. Единственная аристократическая черточка, которую они могли

уловить в характере «Гордого Доссета», было его пристрастие к мадере.

Тетя Эстер – знаток семейной истории – описывала отца так:

– Я не помню, чтобы он чем-нибудь занимался; по крайней мере в мое время. Он... э-э... у него были свои дома, милый. Цвет волос приблизительно как у дяди Суизина; довольно плотного сложения. Высокий ли? Н-нет, не очень. («Гордый Доссет» был пяти футов пяти дюймов роста, лицо в багровых пятнах.) Румяный. Помню, он всегда пил мадеру. Впрочем, спроси лучше тетю Энн. Кем был его отец? Он... э-э... у него были какие-то дела с землей в Дорсетшире, на побережье.

Как-то раз Джемс отправился в Дорсетшир посмотреть собственными глазами на то место, откуда все они были родом. Он нашел там две старые фермы, дорогу к мельнице на берегу, глубоко врезавшуюся колеями в розоватую землю; маленькую замшелую церковь с оградой на подпорках и рядом совсем маленькую и совсем замшелую часовню. Речка, приводившая в движение мельницу, разбегалась, журча, на десятки ручейков, а вдоль ее устья бродили свиньи. Легкая дымка застилала все вокруг. Должно быть, первобытные Форсайты веками, воскресенье за воскресеньем, мирно шествовали к церкви по этой ложбине, увязая в грязи и глядя прямо на море.

Лелеял ли Джемс надежду на наследство или думал найти там что-нибудь достопримечательное – неизвестно; он вернулся в Лондон обескураженный и с трогательным упорством постарался хоть как-нибудь смягчить свою неудачу.

– Ничего особенного там нет, – сказал он, – настоящий деревенский уголок, старый как мир.

Почтенный возраст этого местечка подействовал на всех успокоительно. Старый Джолион, которого иногда обурежала безудержная честность, отзывался о своих предках так: «Йомены – мелкота, должно быть». И все же он повторял слово «йомены», как будто находил в нем утешение.

Форсайты так хорошо повели свои дела, что стали, как говорится, «людьми с положением». Они вкладывали капиталы во всевозможные бумаги, за исключением консолей – не в пример Тимоти, – потому что больше всего на свете их пугали три процента. Кроме того, они коллекционировали картины и состояли

в тех благотворительных обществах, которые могли оказаться полезными для их заболевшей прислуги. От отца-строителя Форсайты унаследовали таланты по части кирпича и известки. Предки их были, вероятно, членами какой-нибудь примитивной секты, а теперешние Форсайты, разумеется, росли в лоне англиканской церкви и следили за тем, чтобы их жены и дети аккуратно посещали самые фешенебельные храмы столицы. Малейшее сомнение в искренности их верований повергло бы Форсайтов в горестное изумление. Некоторые из них платили за постоянные места в церкви, весьма практически выражая этим свое сочувствие учению Христа.

Их жилища, расположенные вокруг Гайд-парка, на определенном расстоянии друг от друга, следили, как стражи, за тем, чтобы прекрасное сердце Лондона – средоточие форсайтских помыслов – не ускользнуло из их цепких объятий, что уронило бы Форсайтов в их же собственных глазах.

Старый Джолион жил на Стэнхоп-плейс; Джемс с семьей – на Парк-лейн, Суизин – в безлюдном великолепии своих оранжево-синих апартаментов около Гайд-парка (он не женат, нет, благодарю покорно!); Сомс с женой – в своем гнездышке недалеко от Найтсбриджа; Роджер – в Принсез-Гарденз (Роджер был тот самый знаменитый Форсайт, который задумал дать новую профессию своим четверем сыновьям и привел эту мысль в исполнение. «Самое лучшее дело – доходные дома! – говорил он. – Я только этим и занимаюсь!»). Затем Хеймены (миссис Хеймен была единственная замужняя сестра Форсайтов) – на вершине Кэмден-Хилла, в доме, похожем на жирафа, таком высоком, что, глядя на него, можно было свернуть себе шею; Николас с семьей – на Лэдброк-Гроув, в просторном особняке, купленном по чрезвычайно сходной цене; и, наконец, Тимоти – на Бейсуотер-роуд, вместе с Энн, Джули и Эстер, жившими под его защитой.

Джемс, до сих пор думавший о чем-то своем, осведомился у хозяина и брата, сколько тот заплатил за дом на Монпелье-сквер. Он сам вот уже два года присматривается к какому-нибудь такому дому, но за них слишком дорого просят!

Старый Джолион рассказал о своей покупке со всеми подробностями.

– Контракт на двадцать два года? – повторил Джемс. – Это тот самый, который я собирался купить. Ты переплатил за него!

Старый Джолион нахмурился.

– Мне он не нужен, – заторопился Джемс, – не подходит по цене. Сомс знает этот дом, он подтвердит, что это слишком дорого, – его мнение чего-нибудь да стоит.

– Очень мне интересно знать его мнение, – сказал старый Джолион.

– Ну, ты всегда делаешь по-своему, – пробормотал Джемс, – а мнение стоящее. Прощай! Мы хотим проехаться в Харлингэм. Я слышал, что Джун уезжает в Уэльс. Тебе будет тоскливо одному. Что ты будешь делать? Приезжай к нам завтра обедать.

Старый Джолион отказался. Он проводил их до дверей и, успев уже забыть свое раздражение, подмигнул, глядя, как они усаживаются в экипаж: лицом к упряжке – миссис Джемс, высокая и величественная, с каштановыми волосами; слева от нее – Ирэн; оба мужа – отец и сын – напротив жен, словно настороже. Старый Джолион смотрел, как они отъезжают в полном молчании, освещенные солнцем, раскачиваясь и подскакивая на пружинных подушках в такт движению экипажа.

Молчание было прервано миссис Джемс.

– Ну и сборище! – сказала она.

Сомс кивнул и, бросив на нее взгляд из-под опущенных век, заметил, как непроницаемые глаза Ирэн скользнули по его лицу. Весьма вероятно, что все члены форсайтской семьи отпускали то же самое замечание, разъезжаясь группами с приема у старого Джолиона.

Четвертый и пятый братья, Николас и Роджер, вышли вместе с последними гостями и направились вдоль Гайд-парка, к станции подземной железной дороги на Прэд-стрит. Как и все Форсайты солидного возраста, они держали собственных лошадей и по мере возможности старались никогда не пользоваться наемными экипажами.

День был ясный, деревья в парке стояли во всем блеске июньской листвы, но братья, видимо, не замечали этих подарков природы, которые все же

способствовали приятности прогулки и беседы.

– Да, – сказал Роджер, – у Сомса очаровательная жена. Говорят, они не ладят.

У этого брата был высокий лоб и свежий цвет лица – свежее, чем у остальных Форсайтов. Его светло-серые глаза рассматривали фасады вдоль тротуара. Время от времени Роджер поднимал зонтик и прикидывал им высоту домов, «засекая их», как он выражался.

– У нее нет собственных средств, – ответил Николас.

Сам он женился на больших деньгах, а так как это произошло в те золотые времена, когда еще не был введен закон об имуществе замужних женщин, то Николасу удалось найти для приданого жены весьма удачное применение.

– Кто был ее отец?

– Фамилия его Эрон; говорят, профессор.

Роджер покачал головой.

– Тут деньгами и не пахнет, – сказал он.

– Говорят, что ее дед со стороны матери торговал цементом.

Лицо Роджера просветлело.

– Но обанкротился, – продолжал Николас.

– А! – воскликнул Роджер. – У Сомса еще будут неприятности из-за нее. Помяни мое слово, у него будут неприятности – в ней есть что-то иностранное.

Николас облизнул губы.

– Хорошенькая женщина. – И он махнул метельщику, чтобы тот уступил им дорогу.

– Как это он заполучил такую жену? – спросил вдруг Роджер. – Ее туалеты, должно быть, недешево обходятся!

– Энн мне говорила, – ответил Николас, – что Сомс был просто помешан на ней. Она пять раз ему отказывала. По-моему, Джемс неспокоен насчет них.

– А! – опять сказал Роджер. – Жаль Джемса, у него было столько хлопот с Дарти.

Его яркий румянец еще сильнее разгорелся от ходьбы, он поднимал зонтик все чаще и чаще. У Николаса было тоже очень довольное выражение лица.

– Слишком бледна, на мой взгляд, – сказал он, – но фигура великолепная!

Роджер промолчал.

– По-моему, у нее очень благородный вид, – сказал он наконец. Эта была самая высшая похвала в словаре Форсайтов. – Из этого юнца Босини вряд ли выйдет что-нибудь путное. У Баркита говорят, что он, видите ли, талант. Задумал улучшить английскую архитектуру; тут деньгами и не пахнет! Хотел бы я послушать, что говорит по этому поводу Тимоти.

Они подошли к кассе.

– Ты каким классом поедешь? Я – вторым.

– Не признаю второго, – сказал Николас, – того и гляди подцепишь что-нибудь.

Он взял билет первого класса до Ноттинг-Хилл-Гейт; Роджер – второго до Саут-Кенсингтона. Через минуту подошел поезд, братья простились и разошлись по разным вагонам. Каждый был обижен, что другой не пожертвовал своей привычкой ради того, чтобы побыть немного дольше в его обществе; но Роджер подумал: «Ник – упрямый осел, впрочем, как и всегда!» А Николас мысленно выразился так: «Роджер только и делает, что брюзжит!»

Члены этой семьи не отличались сентиментальностью. Громадный Лондон, завоеванный Форсайтами и поглотивший их всех, – разве он оставлял время для

сентиментов?

II

Старый Джолион едет в оперу

На следующий день, в пять часов, старый Джолион сидел один, куря сигару; на столике рядом с ним стояла чашка чаю. Он чувствовал себя утомленным и, не успев докурить, задремал. На голову ему уселась муха, его верхняя губа оттопыривалась под седыми усами в такт тяжелому дыханию, раздававшемуся в сонной тишине. Сигара выскользнула из морщинистой, со вздувшимися венами руки и, упав в холодный камин, там и дотлела.

Небольшой сумрачный кабинет с окнами из цветного стекла, чтобы не видеть улицу, был заставлен мебелью красного дерева с темно-зеленой бархатной обивкой и сложной резьбой. Старый Джолион не раз говорил про этот гарнитур: когда-нибудь за него дадут большие деньги, ничего удивительного в этом не будет.

Приятно было думать, что со временем он сможет получить за вещи больше той суммы, которая когда-то была за них уплачена.

На фоне густых коричневых тонов, обычных для непарадных комнат в жилищах Форсайтов, рембрандтовский эффект его массивной седовласой головы, откинутой на подушку кресла с высокой спинкой, портили только усы, придававшие ему сходство с военным. Старинные часы, которые он приобрел почти полвека назад, еще до женитьбы, своим тиканьем вели ревнивый счет секундам, навсегда ускользавшим от их старого хозяина.

Он никогда не любил этой комнаты и почти не заглядывал сюда, если не считать тех случаев, когда надо было взять сигары из стоявшей в углу японской шкатулки, и комната теперь мстила ему.

Его резко выступавшие виски, его скулы и подбородок – все заострилось во время сна, и на лице старого Джолиона появилось признание, что он стал

стариком.

Он проснулся. Джун уехала! Джемс сказал, что ему будет тоскливо одному. Джемс всегда был глуповат. Он с удовлетворением вспомнил о доме, который удалось перехватить у Джемса. Поделом ему – нечего было скупиться; только о деньгах и думает. А может быть, он действительно переплатил? Нужен большой ремонт. Можно с уверенностью сказать, что ему понадобятся все деньги, какие только есть, пока не кончится эта история с Джун. Не надо было разрешать помолвку. Она познакомилась с этим Босини у Бейнзов – архитекторы Бейнз и Байлдбой. Кажется, Бейнз, с которым он встречался, – тот, что похож на старую бабу, – приходится этому молодому человеку дядей по жене. С тех пор Джун только и знает, что бегать за женихом, а если уж она вбила себе что-нибудь в голову, ее не остановишь. Она постоянно возится с какими-нибудь «несчастненькими». У этого молодого человека нет денег, но ей во что бы то ни стало понадобилось обручиться с безрассудным, непрактичным мальчишкой, который еще не оберется всяческих затруднений в жизни.

Она явилась однажды и, как всегда, с бухты-барахты рассказала ему все; и еще добавила, как будто это могло служить утешением:

– Фил такой замечательный! Он сплошь и рядом по целым неделям сидел на одном какао.

– И он хочет, чтобы ты тоже сидела на одном какао?

– Ну нет, он теперь выбирается на дорогу.

Старый Джолион вынул сигару из-под седых усов, кончики которых потемнели от кофе, и посмотрел на Джун, на эту пушинку, что так завладела его сердцем. Он-то знал больше об этих «дорогах», чем внучка. Но она обняла его колени и потерлась о них подбородком, мурлыкая, точно котенок. И, стряхнув пепел с сигары, он разразился:

– Все вы одинаковы: не успокойтесь, пока не добьетесь своего. Если тебе суждено хлебнуть горя, ничего не поделаешь. Я умываю руки.

И он действительно умыл руки, поставив условием, что свадьбу отложат до тех пор, пока у Босини не будет по крайней мере четырехсот фунтов в год.

– Я не смогу много дать тебе, – сказал он; эту фразу Джун слышала не в первый раз. – Может быть, у этого – как его там зовут – хватит на какао?

Он почти не видел ее с тех пор, как это началось. Да, плохо дело. Он не имел ни малейшего намерения дать ей уйму денег и тем самым обеспечить праздную жизнь человеку, о котором он ничего не знал. Ему приходилось наблюдать подобные случаи и раньше: ничего путного из этого не выходило. Хуже всего было то, что у него не оставалось ни малейшей надежды поколебать ее решение: она упряма как мул, всегда была такая, с самого детства. Он не представлял себе, чем все это кончится. По одежке протягивай ножки. Он не уступит до тех пор, пока не убедится, что у Босини есть собственные доходы. Ясно, как божий день: Джун хватит горя с человеком, который не имеет ни малейшего представления о деньгах. Что же касается ее скоропалительной поездки в Уэльс к теткам Босини, то он твердо уверен, что эти тетки препротивные старухи и больше ничего.

И старый Джолион, не двигаясь, смотрел прямо перед собой в стену; если бы не открытые глаза, он казался бы спящим... Подумать только, что этот щенок Сомс может давать ему советы! Он всегда был щенком, всегда задирает нос! Скоро того и гляди станет собственником, построит загородный дом! Собственник! Хм! Весь в отца, только и смотрит, как бы обделать дельце повыгоднее, бездушный пройдоха!

Старый Джолион поднялся и, подойдя к шкатулке, размеренными движениями стал наполнять свой портсигар из только что присланной пачки. Сигары неплохие, и не так дорого, но по теперешним временам хороших сигар не достанешь, теперешние и в сравнение не идут с прежними. «Сьюперфайнос» от Хэнсона и Бриджера! Вот это были сигары!

Мысль эта, как еле уловимый запах, унесла его в прошлое, к тем чудесным вечерам в Ричмонде, когда он сидел с послеобеденной сигарой на террасе «Короны и скипетра» вместе с Николасом Трефри, Трэкуэром, Джеком Хэрингом и Антони Торнуорси. Какие хорошие сигары тогда были! Бедняга Ник! – умер, и Джек Хэринг умер, и Трэкуэр – жена в могилу свела, а Торнуорси сильно сдал за последнее время (ничего удивительного при таком аппетите).

Из всей компании, кажется, только он один и остался, конечно, если не считать Суизина, а этот до того растолстел, что на него только рукой махнуть.

Трудно поверить, что все это было так давно; он еще чувствует себя молодым! Из всех мыслей, пронесившихся в голове старого Джолиона, пока он стоял, пересчитывая сигары, эта была самая мучительная, самая горькая. Несмотря на свою седую голову и одиночество, он сохранил молодость и свежесть сердца. А те воскресные дни на Хэмпстед-Хите, когда молодой Джолион ходил вместе с ним на прогулку по Спэньярдс-роуд на Хайгейт, Чайлдс-Хилл и обратно, снова через Хит, обедать в «Замок Джека-Соломинки» – какие восхитительные тогда были сигары! А какая погода! С теперешней даже сравнить нельзя.

Когда Джун была пятилетней крошкой и он ходил с ней через воскресенье в Зоологический сад, забирая ее у этих добрейших женщин – ее матери и бабушки, – и совал в клетку ее любимцам медведям булки, насаженные на конец зонтика, какие тогда были вкусные сигары!

Сигары! Он до сих пор не утратил своего тончайшего вкуса – прославленного вкуса, который в пятидесятых годах люди считали мерилом и, заговорив о старом Джолионе, восклицали: «Форсайт! Ну еще бы, в Лондоне не найдется лучшего дегустатора!» Вкус, в некотором смысле принесший состояние своему владельцу и известной чайной фирме «Форсайт и Треффри», чай у которой, как ни у кого другого, имел романтический аромат – совсем особую прелесть настоящего чая. Фирму «Форсайт и Треффри» в Сити окутывала атмосфера тайны и предприимчивости, эта фирма заключала специальные контракты на специальные корабли, в специальных портах, со специальными восточными купцами.

В свое время он много поработал! Тогда умели работать. Теперешние молокососы вряд ли вникают в смысл этого слова. Он входил во все мелочи, знал все, что делалось в фирме, иногда просиживал за работой целыми ночами. И всегда сам подбирал себе агентов и гордился этим. Умение подбирать людей, как он часто говорил, и являлось секретом его успеха, а применение этой хитрой науки было единственной частью работы, которая ему действительно нравилась. Не совсем подходящая карьера для человека с его способностями. Даже теперь, когда фирма была преобразована в «Лимитед компани» и дела ее шли все хуже (он давно разделался со своими акциями), старый Джолион чувствовал острую боль, вспоминая те времена. Насколько лучше можно было прожить жизнь! Из него мог бы выйти блестящий адвокат! Он даже подумывал иногда, не выставить ли свою кандидатуру в парламент. Сколько раз Николас Треффри говорил ему: «Ты мог бы достичь чего угодно, Джо, если бы только не берег себя так!» Старина Ник! Прекрасный человек, но бесшабашная голова! Всем

известный Трефри! Он-то себя никогда не берег. Вот и умер. Старый Джолион твердой рукой пересчитал сигары, и в голову ему закралось сомнение: а может быть, он действительно слишком берег себя?

Он положил портсигар во внутренний карман, застегнул сюртук и, тяжело ступая и опираясь рукой на перила, поднялся по высокой лестнице к себе в спальню. Дом слишком велик. Когда Джун выйдет замуж, если только она в конце концов выйдет за этого человека, а этого следует ожидать, он сдаст большой дом в аренду, а сам снимет квартиру. Чего ради держать ораву слуг, которым совершенно нечего делать?

На его звонок пришел лакей – высокий бородатый человек с неслышной поступью и совершенно исключительной способностью молчать. Старый Джолион приказал ему приготовить фрак: он поедет обедать в клуб.

– Когда коляска вернулась с вокзала? В два часа? Тогда велите подать к половине седьмого.

Клуб, куда старый Джолион вошел ровно в семь часов, был одним из тех политических учреждений крупной буржуазии, которое знавало лучшие времена. Несмотря на то что сплетники предсказывали ему близкий конец, а может быть, вследствие этих сплетен клуб проявлял удручающую живучесть. Всем уже наскучило повторять, что «Разлад» находится при последнем издыхании. Старый Джолион тоже говорил это, но относился к самому факту с равнодушием, раздражавшим заправских клубменов.

– Почему ты не уйдешь оттуда? – часто с глубокой досадой спрашивал его Суизин. – Почему бы тебе не перейти в «Полиглот»? Такого вина, как наш «Хайдсик», во всем Лондоне не достанешь дешевле двадцати шиллингов за бутылку. – И, понизив голос, добавлял: – Осталось всего-навсего пять тысяч дюжин. Я пью его изо дня в день.

– Я подумаю, – отвечал старый Джолион, но всякий раз, когда задумывался над этим, перед ним вставал вопрос о пятидесяти гинеех вступительного взноса и о четырех-пяти годах, которые понадобились бы, чтобы пройти в члены. И старый Джолион продолжал думать.

Он был слишком стар, чтобы вдруг стать либералом, давно уже перестал верить в политические доктрины своего клуба, даже называл их, как это было известно, «белибердой», но ему доставляло удовольствие быть членом клуба, принципы которого так расходились с его собственными. Старый Джолион всегда презирал это учреждение и вступил сюда много лет назад, после того как был забаллотирован во «Всякой всячине» под тем предлогом, что он занимался торговлей. Точно он был хуже других! Вполне естественно, что старый Джолион презирал клуб, который принял его. Публика там была средняя, многие из Сити – биржевые маклеры, адвокаты, аукционисты, всякая мелюзга! Как большинство людей сильного характера, но не слишком большой самобытности, старый Джолион был невысокого мнения о классе, к которому принадлежал сам. Он неизменно следовал его законам – как общественным, так и всяким другим, а втайне считал людей своего класса сбродом.

Годы и философические раздумья, которым он отдал дань, стушевали воспоминание о поражении, понесенном во «Всякой всячине», и теперь этот клуб возвышался в его мыслях как лучший из лучших. Он мог бы состоять там членом все эти годы, но его поручитель Джек Хэринг так небрежно повел все дело, что в клубе просто сами не понимали, какую они совершают ошибку, отводя кандидатуру старого Джолиона. А ведь его сына Джо приняли сразу, и, по всей вероятности, мальчик и до сих пор состоит там членом; он получил от него письмо оттуда восемь лет назад.

Старый Джолион не показывался в своем клубе уже многие месяцы, и за это время здание его подверглось той пестрой отделке, какой люди обычно приукрашивают старые дома и старые корабли, желая сбыть их с рук.

«Курительную комнату покрасили безобразно, – подумал он. – Столовая получилась хорошо».

Ее сумрачный шоколадный тон, оживленный светло-зеленым, ему понравился.

Старый Джолион заказал обед и сел в том же углу, может быть, за тот же самый столик (в «Разладе», где властвовали принципы чуть ли не радикализма, перемен было мало), за который они с молодым Джолионом садились двадцать пять лет назад перед поездкой в Друри-Лейн, куда он часто возил сына во время каникул.

Мальчик очень любил театр, и старый Джолион вспомнил, как Джо садился напротив, тщетно стараясь скрыть свое волнение под маской безразличия.

И он заказал себе тот же самый обед, который всегда выбирал мальчик, – суп, жареные уклейки, котлеты и сладкий пирог. Ах, если бы он сидел сейчас напротив!

Они не встречались четырнадцать лет. И не первый раз за эти четырнадцать лет старый Джолион задумался о том, не сам ли он до некоторой степени виноват в тяжелой истории с сыном. Неудачный роман с дочерью Антони Торнуорси, этой вертушкой Данаей Торнуорси, теперь Данаей Белью, бросил его в объятия матери Джун. Может быть, следовало помешать этому браку: они были слишком молоды. Но после того как уязвимое место Джо обнаружилось, он хотел возможно скорее видеть его женатым. А через четыре года разразилась катастрофа. Оправдать поведение сына во время этой катастрофы было, конечно, невозможно; здравый смысл и воспитание – комбинация всемогущих факторов, заменявших старому Джолиону принципы, – твердили об этой невозможности, но сердце его возмущалось. Суровая неумолимость всей этой истории не знала снисхождения к человеческим сердцам. Осталась Джун – песчинка с пламенеющими волосами, которая завладела им, обвилась, сплелась вокруг него – вокруг его сердца, созданного для того, чтобы быть игрушкой и любимым прибежищем крохотных, беспомощных существ. С характерной для него пронизательностью он видел, что надо расстаться или с сыном, или с ней – полумеры здесь не могли помочь. В этом и заключалась трагедия. И крохотное, беспомощное существо победило. Он не мог служить двум богам и простился со своим сыном.

Эта разлука длилась до сих пор.

Он предложил молодому Джолиону денежную помощь, несколько меньшую, чем прежде, но сын отказался принять ее, и, может быть, этот отказ оскорбил его больше, чем все остальное, потому что теперь исчезла последняя отдушина для его чувства, не находившего иного выхода, и появилось столь осязаемое, столь реальное доказательство разрыва, какое может дать только контракт на передачу собственности – заключение такого контракта или расторжение его.

Обед показался ему пресным. Шампанское было, как несладкая, горьковатая водичка, – ничего похожего на «Вдову Клико» прежних лет.

За чашкой кофе ему пришла мысль съездить в оперу. Он посмотрел в «Таймс» программу на сегодняшний вечер – к другим газетам старый Джолион питал недоверие. Давали «Фиделио».

Благодарение богу, что не какая-нибудь новомодная немецкая пантомима этого Вагнера.

Надев старый цилиндр с выпрямившимися от долгой носки полями и объемистой тульей, цилиндр, казавшийся эмблемой прежних лучших времен, и вынув старую пару очень тонких светлых перчаток, распространявших сильный запах кожи вследствие постоянного соседства с портсигаром, лежавшим в кармане его пальто, он уселся в кеб.

Кеб весело загромыхал по улицам, и старый Джолион удивился, заметив на них необычайное оживление.

«Отели, вероятно, загребают уйму денег», – подумал он. Несколько лет назад этих отелей и в помине не было. Он с удовлетворением подумал о земельных участках, имевшихся у него в этих местах. Вероятно, поднимаются в цене с каждым днем. Какое здесь движение!

Но вслед за этим он предался странным, отвлеченным размышлениям, совершенно необычным для Форсайтов, в чем отчасти и заключался секрет его превосходства над ними. Какие все-таки песчинки люди, и сколько их! И что со всеми нами будет?

Он оступился, выходя из кеба, заплатил кебмену ровно столько, сколько полагалось, прошел к кассе за билетом в кресла и остановился, держа кошелек в руке, – он всегда носил деньги в кошельке, не одобряя привычки рассовывать их прямо по карманам, как теперь делает молодежь. Кассир выглянул из окошечка, как старый пес из конуры.

– Кого я вижу! – сказал он удивленным голосом. – Да это мистер Джолион Форсайт! Так и есть! Давненько не видались, сэр. Да! Теперь времена совсем другие! Ведь вы с братом, и мистер Трэкуэр, и мистер Николас Треффри брали у нас шесть или семь кресел на каждый сезон. Как поживаете, сэр? Мы с вами не молодеем!

У старого Джолиона заблестели глаза; он уплатил гинею. Его еще не забыли. Под звуки увертюры он проследовал в зал, как старый боевой конь на поле битвы.

Сложив цилиндр, он опустился в кресло, привычным жестом вынул из кармана перчатки и поднял к глазам бинокль, чтобы как следует осмотреть весь театр. Опустив наконец бинокль на сложенный цилиндр, он обратил свой взор на занавес. Острее, чем когда-либо, старый Джолион почувствовал, что его песенка спета. Куда девались женщины, красивые женщины, бывало, наполнявшие театр? Куда девался тот прежний сердечный трепет, с которым он ждал появления знаменитого певца? Где то чувство опьянения жизнью, опьянения своей способностью наслаждаться ею?

Когда-то он был завзятым театралом! Нет теперь оперы! Этот Вагнер погубил все – ни мелодии, ни голосов. А какие замечательные были певцы! Нет их теперь. Он смотрел на актеров, разыгрывающих старые, знакомые сцены, и чувствовал, как цепенеет его сердце.

Начиная с седого завитка над ухом и кончая лакированными башмаками с резинкой, в старом Джолионе не было и следа старческой неуклюжести и слабости. Такой же прямой – почти такой же, как в те прежние времена, когда он приходил сюда каждый вечер; такое же хорошее зрение – почти такое же хорошее. Но это чувство усталости и разочарования!

Всю свою жизнь он наслаждался всем, даже несовершенным – а несовершенного было много, – и наслаждался умеренно, чтобы не утратить молодости. Но теперь ему изменила и способность наслаждаться жизнью, и умение философски смотреть на нее, осталось только ужасное чувство конца. Ни хор узников, ни даже ария Флорестана не были властны рассеять тоскливость его одиночества.

Если бы только Джо был с ним! Мальчику, должно быть, уже стукнуло сорок. Он потерял четырнадцать лет жизни своего единственного сына. Джо теперь уже не пария в обществе. Он женился. Старый Джолион не мог удержаться от того, чтобы не отметить своим одобрением этот поступок, и послал сыну чек на пятьсот фунтов. Чек был возвращен в письме, отправленном из «Всякой всячины» и содержавшем следующее:

«Дорогой отец!

Мне было приятно получить Ваш щедрый подарок – он служит доказательством того, что Вы не так плохо думаете обо мне. Я возвращаю чек, но если Вы сочтете возможным передать свой подарок нашему малышу (мы зовем его Джолли), который носит наше имя и фамилию, я буду Вам очень признателен.

Надеюсь от всего сердца, что Вы чувствуете себя так же хорошо, как и прежде.

Любящий Вас сын Джо»

Письмо так похоже на мальчика. Он всегда был такой приветливый. Старый Джолион послал следующий ответ:

«Дорогой Джо!

Сумма (500 ф. ст.) занесена в мои книги на имя твоего сына, Джолиона Форсайта; соответственным образом на нее будут начисляться 5 %. Я надеюсь, что дела твои идут хорошо. Мое здоровье в настоящее время неплохо.

Остаюсь любящий тебя отец Джолион Форсайт»

И каждый год первого января он прибавлял к этой сумме сто фунтов плюс проценты. Сумма росла; к следующему новому году там будет тысяча пятьсот фунтов стерлингов с небольшим. И трудно выразить то удовлетворение, какое приносила ему эта ежегодная операция. Но переписка их прекратилась.

Несмотря на любовь к сыну, несмотря на инстинкт, отчасти врожденный, отчасти появившийся у него, как и у сотен людей одного с ним класса, в результате постоянной близости к деловому миру и заставлявший его оценивать поведение людей не с принципиальных позиций, а на основании вытекавших из этого поведения последствий, старый Джолион чувствовал в глубине сердца какое-то беспокойство. Обстоятельства сложились так, что его сын должен был погибнуть; закон этот провозглашался во всех романах, проповедях и пьесах, которые он когда-либо читал, слышал или смотрел.

Когда чек пришел обратно, старому Джолиону показалось, что творится что-то неладное. Почему его сын не погиб? Но кто мог ответить на этот вопрос?

Он слышал, конечно, – вернее, сам постарался разузнать, – что Джо живет в Сент-Джонс-Вуд, где у него есть небольшой дом с садом на Вистариа-авеню, что у него с женой свой круг знакомых, по всей вероятности, весьма сомнительных, и что у них двое детей: мальчик Джолли[4 - От англ. jolly – веселый.] (принимая во внимание все обстоятельства, старый Джолион находил это имя циничным, а он и побаивался и не любил цинизма) и девочка Холли, родившаяся уже после их женитьбы. Кто знает, в каких условиях живет его сын? Он превратил в наличные деньги наследство, полученное от деда со стороны матери, и поступил к Ллойдю страховым агентом; кроме того, занимался живописью – писал акварели. Старому Джолиону было известно это, так как, увидев однажды в витрине подпись своего сына под акварелью, изображавшей Темзу, он стал время от времени тайком покупать их. Он считал акварели плохими и не развешивал их из-за подписи; он держал их в ящике под замком.

Сидя в громадном зале, старый Джолион почувствовал непреодолимое желание повидать сына. Ему вспомнились те дни, когда он раскачивал на коленях мальчугана в полотняном костюмчике; то время, когда он бегал рядом с пони и учил Джо ездить верхом; тот день, когда он первый раз отвез его в школу. Джо всегда был славный, приветливый мальчик! В Итоне он, может, чуточку переборщил, набираясь хороших манер, которые, как старому Джолиону было известно, только в таких местах и приобретаются, и за большие деньги; но он всегда оставался хорошим товарищем. Всегда хороший товарищ, даже после Кембриджа – быть может, чуточку сдержанный благодаря тем преимуществам, которые ему дало образование! Отношение старого Джолиона к закрытым школам и университетам оставалось неизменным: он трогательно сохранил и уважение и недоверие к воспитательной системе, которая была предназначена для избранных и к которой сам он не удостоился приобщиться... Сейчас, когда Джун уехала и покинула или почти что покинула его, встреча с сыном принесла бы ему утешение. Чувствуя, что он предает свою семью, свои принципы, свой класс, старый Джолион перевел глаза на певицу. Жалкое зрелище! А Флорестан какое убожество!

Опера кончилась. Как мало нужно теперь, чтобы доставить людям удовольствие!

В толпе на улице он завладел кебом под самым носом у какого-то солидного, много моложе его самого, джентльмена, который уже считал кеб своим. Путь

старого Джолиона лежал через Пэлл-Мэлл, и на углу кебмен, вместо того чтобы поехать через Грин-парк, свернул на Сент-Джеймс-стрит. Старый Джолион просунул руку в окошечко (он не выносил, когда кто-нибудь нарушал его привычки); оглянувшись, однако, он увидел, что находится напротив «Всякой всячины», и сокровенное желание, не оставлявшее его весь вечер, взяло верх. Он приказал остановиться. Он зайдет и спросит, состоит ли еще Джо членом клуба.

Он вошел. В холле все было по-прежнему, как в те времена, когда он заходил сюда обедать с Джеком Хэрингом, – ведь здесь держали самого лучшего повара в Лондоне. Старый Джолион обвел стены тем острым прямым взглядом, благодаря которому его всю жизнь обслуживали лучше, чем большинство других людей.

– Мистер Джолион Форсайт все еще состоит членом клуба?

– Да, сэр; он сейчас здесь, сэр. Как прикажете доложить?

Старый Джолион был застигнут врасплох.

– Его отец, – ответил он.

И, сказав это, занял место у камина, повернувшись спиной к огню.

Собираясь уходить из клуба, молодой Джолион надел шляпу и только что хотел пройти в холл, когда к нему подошел швейцар. Джо был уже не молод; в его волосах сквозила седина, лицо – копия отцовского, только чуть поуже, с точно такими же густыми обвислыми усами – носило явные следы усталости. Он побледнел. Встретиться после всех этих лет ужасно, потому что в мире нет ничего ужаснее сцен. Они подошли друг к другу и молча обменялись рукопожатием. Потом, с дрожью в голосе, отец сказал:

– Здравствуй, мой мальчик!

Сын ответил:

– Здравствуйте, папа!

Рука старого Джолиона в светлой тонкой перчатке дрожала.

– Если нам по дороге, – сказал он, – я тебя подвезу.

И, как будто подвозить друг друга домой каждый вечер было для них самым привычным делом, они вышли и сели в кеб.

Старому Джолиону показалось, что сын вырос. «Сильно возмужал», – решил он про себя. Всегда присущую лицу сына приветливость теперь прикрывала ироническая маска, как будто обстоятельства жизни заставили его надеть непроницаемую броню. Черты лица носили явно форсайтский характер, но в выражении его была созерцательность, больше свойственная лицу ученого или философа. Ему, без сомнения, приходилось много задумываться над самим собой в течение этих пятнадцати лет.

С первого взгляда вид отца поразил молодого Джолиона – так он осунулся и постарел. Но в кебе ему показалось, что отец почти не изменился – тот же спокойный взгляд, который он так хорошо помнил, такой же прямой стан, те же пронизательные глаза.

– Вы хорошо выглядите, папа.

– Посредственно, – ответил старый Джолион.

Его мучила тревога, и он считал себя обязанным выразить ее словами. Раз уж он выбрал такой путь, чтобы вернуть сына, надо узнать, в каком состоянии находятся его финансовые дела.

– Джо, – сказал он, – я бы хотел знать, как ты живешь. У тебя есть долги, должно быть?

Он повел разговор так, чтобы сыну было легче признаться.

Молодой Джолион ответил ироническим тоном:

– Нет. У меня нет долгов.

Старый Джолион понял, что сын рассердился, и коснулся его руки. Он пошел на риск. Но рискнуть стоило; кроме того, Джо никогда на него не сердился раньше. Они доехали до Стэнхоуп-Гейт, не говоря ни слова. Старый Джолион пригласил сына зайти, но молодой Джолион покачал головой.

– Джун нет дома, – поторопился сказать отец, – уехала сегодня в гости. Ты, вероятно, знаешь, что она помолвлена?

– Уже? – пробормотал молодой Джолион.

Старый Джолион вышел из кареты и, расплачиваясь с кебменом, в первый раз в жизни дал по ошибке соверен вместо шиллинга.

Сунув монету в рот, кебмен исподтишка стегнул лошадь по брюху и поторопился уехать.

Старый Джолион тихо повернул ключ в замке, отворил дверь и кивнул сыну. Молодой Джолион смотрел, как отец вешает пальто: степенно и все же с таким видом, словно он мальчишка, который собирается красть вишни.

Дверь в столовую была отворена; газ низко прикручен; на чайном подносе шипела спиртовка, рядом, на столе, с совершенно беззастенчивым видом спала кошка. Старый Джолион сейчас же согнал ее оттуда. Этот инцидент принес ему облегчение; он постучал цилиндром ей вслед.

– У нее блохи, – сказал он, выпроваживая кошку из комнаты.

Остановившись в дверях, которые вели из холла в подвальный этаж, он несколько раз крикнул «брысь», точно подгоняя кошку, и как раз в эту минуту внизу лестницы по странному стечению обстоятельств появился лакей.

– Можете ложиться спать, Парфит, – сказал старый Джолион. – Я сам запру дверь и потушу свет.

Когда он снова вошел в столовую, кошка как на грех выступала впереди него, задрав хвост и показывая всем своим видом, что она с самого начала поняла эту уловку, с помощью которой ему удалось избавиться от лакея.

Какой-то рок преследовал все домашние хитрости старого Джолиона.

Молодой Джолион не мог удержаться от улыбки. Он был далеко не чужд иронии, а в этот вечер, как ему казалось, все имело иронический оттенок. Эпизод с кошкой; известие о помолвке его собственной дочери. Значит, старый Джолион так же не властен над ней, как и над кошкой! И поэтическая справедливость всего этого нашла отклик у него в сердце.

– Расскажите про Джун, какая она теперь стала? – спросил он.

– Маленького роста, – ответил старый Джолион, – говорят, есть сходство со мной, но это вздор. Она больше похожа на твою мать – те же глаза и волосы.

– Вот как! Хорошенькая?

Старый Джолион был слишком Форсайт, чтобы откровенно похвалить что-нибудь; в особенности то, чем он искренно восхищался.

– Недурненькая, настоящий форсайтский подбородок. Мне будет очень тоскливо, когда она уйдет, Джо.

Выражение его лица снова поразило молодого Джолиона, как и в первую минуту встречи.

– Что же вы теперь будете делать один, отец? Она, наверное, только о нем и думает?

– Что я буду делать? – повторил старый Джолион, и в голосе его послышались сердитые нотки. – Да, унылое занятие – жить здесь в одиночестве. Я не знаю, чем это кончится. Я бы хотел... – Он оборвал себя на полуслове и потом добавил: – Весь вопрос в том, как мне поступить с домом.

Молодой Джолион оглядел комнату. Она была большая и мрачная, по стенам висели громадные натюрморты, которые он помнил еще с детства: собаки, спавшие, уткнув носы в пучки моркови, по соседству с лежавшими тут же в кротком изумлении связками лука и винограда. Дом был явной обузой, но он не мог представить себе отца живущим в маленьком доме; и это только

подчеркивало иронию, которую он видел сегодня во всем.

В большом кресле с подставкой для книги сидит старый Джолион – эмблема своей семьи, класса, верований: седая голова и выпуклый лоб – воплощение умеренности, порядка и любви к собственности. Самый одинокий старик во всем Лондоне.

Так он сидит, окруженный унылым комфортом, марионетка в руках великих сил, которые не знают снисхождения ни к семье, ни к классу, ни к верованиям и, как автоматы, грозно движутся вперед к таинственной цели. Вот что увидел молодой Джолион, умевший отвлеченно смотреть на жизнь.

Бедный старик отец! Вот, значит, ради чего он прожил жизнь с такой поразительной умеренностью! Остаться одиноким и стареть все больше и больше, тоскуя по живому человеческому голосу!

И старый Джолион, в свою очередь, тоже смотрел на сына. Ему хотелось поговорить с ним о многом, о чем приходилось молчать все эти годы. Нельзя же было, в самом деле, посвящать Джун в свои соображения о том, что земельные участки в районе Сохо должны подняться в цене; рассказывать ей о той тревоге, которую ему причиняет злое молчание Пиппина, управляющего «Новой угольной компанией», где он так давно председателем; о своем неудовольствии по поводу неуклонного падения акций «Американской Голгофы»; нельзя же обсуждать с ней вопрос о том, каким образом лучше всего обойти выплату налога на наследство после его смерти. Однако под влиянием чая, который он рассеянно помешивал ложечкой, старый Джолион наконец заговорил. Ему открылись новые жизненные просторы, земля обетованная, где можно говорить, можно укрыться в тихой пристани от бури предчувствий и сожалений; успокоить душу опиумом всяческих уловок, направленных на то, чтобы округлить свое состояние и увековечить единственное, что останется жить после него.

Молодой Джолион умел слушать: это всегда было его большим достоинством. Он не сводил глаз с отца, время от времени вставляя вопрос.

Пробило час, а старый Джолион еще не успел сказать всего, но вместе с боем часов к нему вернулись его принципы. Он с удивленным видом вынул карманные часы.

– Мне пора спать, Джо.

Молодой Джолион поднялся и протянул руку, помогая отцу встать. Это старческое лицо снова показалось ему утомленным и осунувшимся: глаза отца упорно смотрели в сторону.

– Прощай, мой мальчик; береги себя.

Прошла минута, и, повернувшись на каблуках, молодой Джолион зашагал к двери. Он почти ничего не видел перед собой; его улыбающиеся губы дрожали. Ни разу за все пятнадцать лет, пробежавшие с тех пор, как он впервые понял, что жизнь непростая штука, не казалась она ему такой сложной.

III

Обед у Суизина

Круглый стол в оранжево-голубой столовой Суизина, выходившей окнами в парк, был накрыт на двенадцать персон.

Хрустальная люстра с зажженными свечами свешивалась над столом, как громадный сталактит, озаря большие зеркала в золоченых рамах, мраморные доски столиков вдоль стен и громоздкие позолоченные стулья, расшитые шерстью. Каждая вещь говорила о любви к красивому, так глубоко коренящейся во всех семьях, которые пробивают себе дорогу в изысканное общество из самых недр естественного бытия. Суизин не признавал простоты и очень любил позолоченную бронзу, что всегда выделяло его среди остальных членов семьи как человека с большим, хотя и несколько причудливым, вкусом, и сознание того, что всякий входящий в его комнаты сразу же видит в нем человека со средствами, неизменно доставляло ему такую радость, какую он вряд ли мог почерпнуть из других обстоятельств своей жизни.

Покончив с агентством по продаже домов – профессией, по его понятиям, весьма предосудительной, особенно в той ее части, которая касалась аукционов, – он всецело отдался своим аристократическим вкусам.

Роскошь, в которой он жил последние годы, засосала его, как патока муху; а в мозгу Суизина, ничем не занятом с раннего утра и до позднего вечера, странным образом сочетались два противоположных чувства: издавна укрепившееся удовлетворение тем, что он сам пробил себе дорогу и нажил состояние, и уверенность, что такому человеку, как он, никогда не следовало бы утруждать свою голову работой.

Суизин в белом жилете на крупных пуговицах из оникса в золотой оправе стоял около буфета и смотрел, как лакей втискивает три бутылки шампанского в ведро со льдом. Между уголками стоячего воротничка, фасон которого Суизин не согласился бы изменить ни за какие деньги, хотя воротник и мешал ему поворачивать голову, покоились дряблые складки его двойного подбородка. Глаза Суизина перебегали с одной бутылки на другую. Он соображал что-то, и в голове у него возникали такие доводы: Джолион выпьет один бокал, ну два, он ведь так бережет себя. Джемс теперь не может пить, Николас и Фэнни будут тянуть стаканами воду, с них это станет. Сомс не идет в счет: эта молодежь – племянники (Сомсу был тридцать один год) – не умеет пить! А Босини? Почувств в имени этого малознамого человека что-то находившееся за пределами его разума, Суизин запнулся. В нем зародилось недоверие. Трудно сказать! Джун еще девочка, к тому же влюбленная! Эмили (миссис Джемс) любит выпить бокал хорошего шампанского. Джули оно покажется чересчур сухим – старушка совсем не разбирается в винах. Что же касается Хэтти Чесмен... Мысль о старой приятельнице затуманила облаком кристальную ясность его взора; Хэтти, чего доброго, одна выпьет полбутылки!

Но когда Суизин вспомнил о своей последней гостье, старческое лицо его стало похожим на мордочку кошки, которая собирается замурлыкать: миссис Сомс! Может быть, она и не станет много пить, но то, что выпьет, оценить сумеет: просто удовольствие угостить ее хорошим вином! Красивая женщина, и так расположена к нему!

Мысль о ней и то уже действует, как шампанское! Просто удовольствие угощать дорогим вином молодую женщину, которая так хороша собой, так умеет одеться, так прекрасно держится, в которой столько благородства – просто удовольствие беседовать с ней. Тут Суизин в первый раз за весь вечер осторожно повел головой, ощущая при этом, как острые уголки воротничка впиваются ему в шею.

– Адольф! – сказал он. – Заморозьте еще одну бутылку.

Что касается его самого, то он может выпить много, этот рецепт Блайта замечательно помог ему, к тому же он предусмотрительно воздержался от завтрака. Давно уж у него не было такого прекрасного самочувствия. Выпятив нижнюю губу, Суизин давал последние наставления:

– Адольф, самую чуточку кабуля, когда займетесь ветчиной.

Пройдя в гостиную, он сел на кончик кресла, раздвинул колени, и его высокую массивную фигуру сразу же сковала странная первобытная неподвижность ожидания. Он готов был в любую минуту встать. Званные обеды в его доме не давались уже несколько месяцев. Сначала Суизин думал, что возня с этим приемом в честь помолвки Джун будет очень нудной (Форсайты свято соблюдали обычай торжественно праздновать помолвки), но с тех пор как хлопоты по рассылке приглашений и выбору меню кончились, он чувствовал приятное оживление.

Так он сидел с часами в руках – тучный, лоснящийся, как приплюснутый шар золотистого масла, – и ни о чем не думал.

Долговязый человек в бакенбардах, который служил когда-то у Суизина, а впоследствии открыл зеленую лавку, вошел в гостиную и провозгласил:

– Миссис Чесмен, миссис Септимус Смолл!

Появились две леди. Та, которая шла впереди, была одета во все красное, на щеках ее лежали широкие ровные пятна того же цвета, глаза смотрели жестко и вызывающе. Она направилась прямо к Суизину, протягивая ему руку, затянутую в длинную светло-желтую перчатку.

– Здравствуйте, Суизин, – сказала она, – целую вечность вас не видела. Как поживаете? Дорогой мой, как вы пополнили!

Только напряженный взгляд Суизина выдал его чувства. Глухой клопочущий гнев стеснял ему дыхание. Полнота вульгарна, и вульгарно говорить о том, что человек полнеет; у него широкая грудь, только и всего. Повернувшись к сестре, он сжал ей руку и сказал повелительным тоном:

– Здравствуй, Джули!

Миссис Септимус Смолл была самая высокая из четырех сестер; унылое выражение не сходило с ее добродушного круглого лица; кислая гримаса прочно застыла на нем, словно миссис Смолл вплоть до самого вечера просидела в проволочной маске, которая собрала ее неподатливую кожу в мелкие складочки. Даже взгляд у нее был кислый. Все это служило для того, чтобы свидетельствовать о ее неизменном горе по поводу утраты Септимуса Смолла.

Она славилась тем, что всегда говорила что-нибудь несурзное и с упорством, характерным для всего ее племени, держалась за свои слова, подбавляя еще что-нибудь невпопад, и так без конца. Со смертью мужа форсайтская цепкость, форсайтская деловитость окостенели в ней. Любительница поболтать, когда только ей представлялась такая возможность, она могла говорить часами без всякого оживления, рассказывая с эпической монотонностью о тех бесчисленных ударах, которые ей пришлось принять от судьбы; и ей никогда не приходило в голову, что слушатели становятся на сторону судьбы, – сердце у Джули было доброе.

Долгие годы, проведенные у постели Смолла (человека слабого здоровья), сделали из нее сиделку, а таких случаев, когда бедняжке приходилось подолгу просиживать у постели больных – и детей и взрослых, – было множество, и она никак не могла расстаться с мыслью, что в мире слишком много неблагодарных людей. Воскресенье за воскресеньем Джули благоговейно слушала преподобного Томаса Скоулза – блестящего проповедника, который имел на нее большое влияние; но ей удалось убедить всех, что даже в этом было ее несчастье. Она вошла в поговорку в семье, и когда кто-нибудь начинал хандрить, его называли «настоящая Джули». Такие наклонности были способны уморить к сорока годам любого человека, только не Форсайта; но Джули уже стукнуло семьдесят два, а так хорошо, как сейчас, она никогда не выглядела. Казалось, что Джули еще не утратила дара наслаждаться жизнью и наступит время, когда она сумеет доказать это. У нее были три канарейки, кот Томми и половина попугая – второй половиной владела ее сестра Эстер; и эти существа (которых всячески старались убрать с глаз Тимоти – он не переносил животных), в противоположность людям, признавали за своей хозяйкой право на хандру и были страстно привязаны к ней.

В этот вечер она выглядела торжественно и пышно в черном бомбазиновом платье со скромной треугольной вставкой сиреневого цвета и бархаткой,

повязанной вокруг тощей шеи; черное и сиреневое считались чуть ли не у всех Форсайтов самыми строгими тонами для вечерних туалетов.

Надув губы, она сказала Суизину:

– Энн про тебя спрашивала. Ты не был у нас целую вечность!

Суизин засунул большие пальцы за проймы жилета и ответил:

– Энн сильно сдала за последнее время; ей надо посоветоваться с врачами!

– Мистер и миссис Николас Форсайт!

Николас Форсайт вошел улыбаясь и высоко подняв свои прямые брови. Днем ему посчастливилось провести план использования на цейлонских золотых приисках одного племени из Верхней Индии – заветный план, который удалось наконец протащить, несмотря на все трудности, так что теперь он чувствовал вполне заслуженное удовлетворение. Добыча на его приисках удвоится, а опыт показывает, как Николас постоянно твердил, что каждый человек должен умереть, и умрет ли он дряхлым стариком у себя на родине или молодым от сырости на дне рудника в чужой стране, это, конечно, не имеет большого значения, принимая во внимание тот факт, что перемена в его образе жизни пойдет на пользу Британской империи.

В способностях Николаса никто не сомневался. Поводя своим орлиным носом, он сообщал слушателям:

– Из-за недостатка двух-трех сотен таких вот людишек мы уже несколько лет не выплачиваем дивидендов, а вы посмотрите, во что ценятся наши акции. Я не в состоянии заработать на них и десяти шиллингов.

Николас съездил недавно в Ярмут и, вернувшись оттуда, чувствовал, что к его жизни прибавится теперь по крайней мере десяток лет. Он сжал Суизину руку, весело крикнув:

– Ну вот, мы снова пожаловали!

Миссис Николас, болезненного вида женщина, улыбнулась за его спиной не то испуганной, не то радостной улыбкой.

– Мистер и миссис Джемс Форсайт! Мистер и миссис Сомс Форсайт!

Суизин щелкнул каблуками, его осанка была просто неподражаема.

– А, Джемс, Эмили! Как поживаешь, Сомс? Здравствуйте!

Он взял руку Ирэн и вытаращил глаза. Какая прелестная женщина – пожалуй, слишком бледна, но фигура, глаза, зубы! Слишком хороша для этого Сомса!

Боги дали Ирэн темно-карие глаза и золотые волосы – своеобразное сочетание оттенков, которое привлекает взоры мужчин и, как говорят, свидетельствует о слабости характера. А ровная, мягкая белизна шеи и плеч, обрамленных золотистым платьем, придавала ей какую-то необычайную прелесть.

Сомс стоял позади жены, не сводя глаз с ее шеи. Стрелки на часах, которые Суизин все еще держал в руке открытыми, миновали восемь; обычно он обедал на полчаса раньше, а сегодня и завтрака не было – какое-то странное, первобытное нетерпение поднималось в нем.

– Джолион запаздывает, это на него не похоже! – сказал он Ирэн, не сдержав досады. – Наверное, Джун там копается!

– Влюбленные всегда опаздывают, – ответила она.

Суизин уставился на Ирэн; на щеках у него проступил кирпичный румянец.

– Напрасно. Это все новомодные штучки!

Казалось, что в этой вспышке невнятно кипит и бормочет ярость первобытных поколений.

– Как вам нравится моя новая звезда, дядя Суизин? – мягко проговорила Ирэн.

Среди кружев у нее на груди мерцала пятиконечная звезда из одиннадцати бриллиантов.

Суизин посмотрел на звезду. Он хорошо разбирался в драгоценных камнях: никаким другим вопросом нельзя было так искусно отвлечь его внимание.

– Кто это вам подарил? – спросил он.

– Сомс.

Выражение лица Ирэн осталось прежним, но белесые глаза Суизина выкатились, словно его внезапно осенило даром прозрения.

– Вам, наверное, скучно дома, – сказал он. – Я жду вас к обеду в любой день, угощу таким шампанским, лучше которого вы не сыщете в Лондоне.

– Мисс Джун Форсайт, мистер Джолион Форсайт!.. Мистер Босэнни!..

Суизин поднял руку и сказал раскатистым голосом:

– Ну, теперь обедать, обедать!

Он подал руку Ирэн, заявив, что не сидел с ней рядом с тех пор, как она была невестой. Джун повел Босини; его усадили между ней и Ирэн. По другую сторону Джун сели Джемс и миссис Николас, дальше – старый Джолион с миссис Джемс, Николас и Хэтти Чесмен, Сомс и миссис Смолл, круг замыкал Суизин.

Семейные обеды Форсайтов следуют определенным традициям. Так, например, на них не полагается подавать закуски. Почему – неизвестно. Теория, существующая среди молодого поколения, объясняет эту традицию безбожной ценой на устрицы; но гораздо более вероятно, что запрет этот вызван желанием подойти сразу к сути дела и трезвостью взглядов, несовместимой с таким вздором, как закуски. Только семья Джемса не смогла противиться обычаю, установленному почти всюду на Парк-лейн, и время от времени нарушала этот закон.

Безмолвное, чуть ли не угрюмое невнимание друг к другу начинает ощущаться вслед за тем, как все опускаются на свои места; оно длится до появления первого блюда, изредка прерываемое такого рода замечаниями: «Том опять нездоров; не пойму, что с ним такое!» – «Энн, вероятно, не выходит по утрам к завтраку?» – «Как фамилия твоего врача, Фэнни? Стабс? Он шарлатан!» – «Уинифрид! У нее слишком много детей. Четверо, кажется? Она худа как щепка!» – «Сколько ты платишь за херес, Суизин? По-моему, он слишком сухой».

После второго бокала шампанского над столом поднимается жужжание, которое, если отвести от него случайные призвуки и восстановить его основную сущность, оказывается не чем иным, как голосом Джемса, рассказывающего какую-то историю. Жужжание долго не умолкает, а иногда даже захватывает ту часть обеда, которая должна быть единогласно признана самой торжественной минутой форсайтского пиршества и наступает с появлением «седла барашка».

Ни один Форсайт не давал еще обеда без седла барашка. В этом сочном, плотном блюде есть что-то такое, что делает его весьма подходящей едой для людей «с известным положением». Оно питательно и вкусно; раз попробовав такое блюдо, его обычно не забывают. У седла барашка есть прошлое и будущее, как у денежной суммы, положенной в банк; кроме того, о нем можно поспорить.

Каждая ветвь семьи восхваляла баранину только из одной определенной местности: старый Джолион превозносил дартмур, Джемс – велш, Суизин – саутдаун, Николас утверждал, что люди могут говорить все, что угодно, но лучше новозеландской ничего не найдешь. Что касается Роджера, самого большого «оригинала» среди братьев, то ему пришлось отыскать совсем особое место, и с изобретательностью, достойной человека придумавшего новую профессию для своих сыновей, он раскопал лавку, где торговали бараниной, привезенной из Германии; в ответ на протестующие голоса Роджер вытаскил счет и доказал, что он платит своему мяснику больше, чем все остальные. По этому поводу старый Джолион, которому вдруг захотелось пофилософствовать, заметил, повернувшись к Джун:

– Форсайты – большие чудачки, со временем ты сама в этом убедишься.

Один Тимоти обычно не принимал участия в спорах; правда, он ел седло барашка с удовольствием, но, по его собственным словам, побаивался этого блюда.

Для тех, кто интересуется Форсайтами с психологической точки зрения, седло барашка – факт первостепенной важности: он не только иллюстрирует цепкость всей семьи и каждого ее члена в отдельности, но и подчеркивает, что Форсайты всем своим существом, всеми инстинктами принадлежат к тому великому классу, который верует в питательную, вкусную пищу и чужд сентиментального стремления к красоте.

Более молодые члены семьи прекрасно обошлись бы и без барашка, предпочитая ему цесарку или салат из омаров – вообще то, что действует на воображение и не имеет таких питательных свойств. Но это были женщины, а если не женщины, так те, кого испортили жены или матери, вынужденные есть седло барашка в продолжение всей своей замужней жизни и вселившие тайную ненависть к нему в плоть и кровь своих сыновей.

Когда великий спор о седле барашка подошел к концу, приступили к тьюксберийской ветчине, приправленной «чутьочкой» кабуля. Суизин так долго возился с этим блюдом, что задержал мирное течение обеда. Для того чтобы всей душой отдаться ветчине, он даже прервал разговор.

Сомс внимательно разглядывал гостей со своего места рядом с миссис Септимус Смолл. У него были основания наблюдать за Босини, основания, связанные с давно взлелеянным планом одной постройки. Этот архитектор, пожалуй, годится для его целей. Глядя на Босини, который сидел, откинувшись на спинку стула, и задумчиво катал шарики из хлебного мякиша, Сомс решил, что он выглядит неглупым. Сомс заметил, что костюм на Босини сидит хорошо, но узок, как будто сшит много лет назад.

Сомс видел, как Босини повернулся к Ирэн и сказал ей что-то, а ее лицо засветилось, как оно часто светилось в разговорах с другими и никогда в разговоре с ним. Он старался разобрать их слова, но ему помешала тетя Джули.

Разве это не кажется Сомсу удивительным? В прошлое воскресенье мистер Скоулз – милейший человек! – прочел такую блестящую, такую язвительную проповедь. «Ибо, – спросил он, – что обрящет человек, если он спасет душу свою, но потеряет свое состояние? Вот, – сказал мистер Скоулз, – девиз нашего класса». Так что он хотел этим выразить? Конечно, может быть, наш класс в это и верит – она не знает; что думает по этому поводу Сомс?

Он ответил рассеянно:

– Откуда я знаю? Впрочем, этот Скоулз, кажется, шарлатан!

В это время Босини обвел глазами стол, как бы подмечая особенности каждого гостя, и Сомсу было интересно, что он говорит. Судя по улыбке Ирэн, она соглашалась с его замечаниями. Она всегда соглашается с другими.

Ее взгляд упал на Сомса; Сомс сразу же опустил глаза. Улыбка на ее губах исчезла.

– Шарлатан? То есть как это? Если мистер Скоулз, духовное лицо, шарлатан, то что же тогда все остальные? Это ужасно!

– Да все шарлатаны! – сказал Сомс.

Секунда испуганного молчания тети Джули дала ему возможность поймать слова Ирэн; он услышал что-то вроде «Оставь надежду всяк сюда входящий!».

Но Суизин уже покончил со своей ветчиной.

– Где вы берете грибы? – заговорил он с Ирэн тоном изысканного царедворца. – Пошлите к Снилибобу – у него всегда бывают свежие. А эта мелкота не желает возиться со свежим товаром!

Ирэн повернулась к нему, и Сомс увидел, что Босини наблюдает за ней с затаенной улыбкой. Странная улыбка была у этого человека. Простая, как у ребенка, получившего удовольствие. Что касается прозвища, данного Джорджем, то ничего «пиратского» в нем не было. И, глядя, как Босини повернулся к Джун, Сомс тоже улыбнулся, но насмешливо: он недолюбливал Джун, а вид у нее сейчас был не совсем довольный.

И ничего удивительного; Джун только что имела следующий разговор с Джемсом:

– Дядя Джемс, на обратном пути я видела у реки замечательное место для дома.

Джемс, который имел привычку есть медленно и основательно, прекратил процесс жевания.

– Что? – сказал он. – А где это?

– У самого Пэнгборна.

Джемс отправил в рот кусок ветчины, Джун ждала.

– Ты, наверное, не имеешь понятия о том, продаются эти участки в пожизненную собственность или нет? – спросил он наконец. – Ты не поинтересовалась узнать, какие там цены на землю?

– Нет, поинтересовалась, – сказала Джун, – я навела справки. – Ее решительное личико подозрительно пылало и светилось нетерпением под копной медно-рыжих волос.

Джемс оглядел ее инквизиторским взглядом.

– Что? Неужели ты собираешься покупать землю? – воскликнул он, роняя вилку.

Проявленный им интерес подбодрил Джун. Она уже давно носилась с планом, согласно которому ее дяди должны были облагодетельствовать себя и Босини постройкой загородных домов.

– Конечно, нет, – сказала она. – Я подумала, какое замечательное место! Вот бы где выстроить дом – вам или кому-нибудь еще!

Джемс покосился на нее и сунул в рот второй кусок ветчины.

– Там, должно быть, очень дорогие участки, – сказал он.

То, что Джун приняла за личную заинтересованность, было лишь привычным возбуждением, которое испытывает каждый Форсайт, опасаясь, как бы хорошие вещи не уплыли у него из рук. Но она не хотела признать свое поражение и продолжала настаивать:

– Вам надо перебраться за город, дядя Джемс. Будь у меня много денег, я бы и дня не осталась в Лондоне.

Джемс был взволнован до самых глубин своего длинного тощего тела; он и не подозревал, что его племянница придерживается таких крайних взглядов.

– Почему вы не переберетесь за город? – повторила Джун. – Это было бы вам очень полезно!

– Почему? – взволнованно начал Джемс. – Зачем мне покупать землю? Что это мне даст, если я стану покупать землю и строить дома? Я и четырех процентов не получу за свои деньги!

– Ну и что же? Зато будете жить на свежем воздухе!

– Свежий воздух! – воскликнул Джемс. – На что мне свежий воздух?

– Я думала, что каждому приятно жить на свежем воздухе, – презрительно сказала Джун.

Джемс размашистым жестом вытер рот салфеткой.

– Ты не знаешь цены деньгам, – сказал он, избегая ее взгляда.

– Не знаю! И, надеюсь, никогда не буду знать! – И, закусив губы от невыразимого огорчения, бедная Джун замолчала.

Почему ее родственники такие богачи, а у Филя нет даже уверенности, будут у него завтра деньги на табак или нет? Неужели они ничего не могут для него сделать? Все такие эгоисты. Почему они не хотят строить загородные дома? Джун была полна того наивного догматизма, который так трогателен и иногда приводит к таким большим результатам. Босини, к которому она повернулась после своего поражения, разговаривал с Ирэн, и Джун почувствовала холодок в сердце. Гнев придавал ее взгляду решительности; такой взгляд бывал у старого Джолиона, когда его воля встречала какие-нибудь препятствия на своем пути.

Джемсу тоже было не по себе. Ему казалось, что кто-то покушается на его право помещать деньги под пять процентов. Джолион избаловал ее. Ни одна из его дочерей не позволила бы себе такой выходки. Джемс никогда ничего не жалел для своих детей, и это заставило его еще глубже почувствовать дерзость Джун. Он задумчиво поковырял ложкой клубнику, затем утопил ее в сливках и быстро съел: уж клубнику-то он, во всяком случае, не упустит.

Не было ничего удивительного в том, что Джемс так разволновался. Посвятив пятьдесят четыре года жизни (он получил звание поверенного сразу же, как только достиг возраста, установленного законом) хлопотам по закладным, помещению капиталов своих доверителей под самые высокие и верные проценты, ведению дел по принципу извлечения наибольшей выгоды из других людей, но, разумеется, без всякого риска для своих клиентов и для себя, подставляя под все жизненные отношения их точную денежную стоимость, Джемс кончил тем, что привык смотреть на мир исключительно с точки зрения денег. Деньги стали для него светочем жизни, средством восприятия мира, чем-то таким, без чего он не мог познавать действительность; и выслушать брошенную прямо в лицо фразу: «Надеюсь, я никогда не буду знать цену деньгам!» – ему было больно и досадно. Он знал, что все это глупости, иначе такие слова просто испугали бы его. Куда мы идем! Вспомнив, однако, историю с молодым Джолионом, Джемс почувствовал некоторое успокоение: чего можно ждать от дочери такого человека! А затем мысли его пошли по другому, еще менее приятному руслу. Что это за болтовня про Сомса и Ирэн?

Как и у всякой уважающей себя семьи, у Форсайтов существовало нечто вроде торжища, где производился обмен семейными тайнами и котиrowались семейные акции. На Форсайтской Бирже было известно, что Ирэн недовольна своим замужеством. Ее недовольство осуждали. Она должна была знать, что делает; порядочным женщинам не полагается совершать такие ошибки.

Джемс с раздражением думал, что у них хороший дом (правда, маленький) на прекрасной улице, детей нет, денежных затруднений тоже. Сомс неохотно говорит о своих делах, но, по всей вероятности, он человек состоятельный. У него прекрасные доходы. Сомс, так же как и отец, работал в известной адвокатской конторе «Форсайт, Бастард и Форсайт» – он всегда очень осторожен в делах. Недавно проделал чрезвычайно удачную операцию по ипотекам: воспользовался просроченными платежами – на редкость удачно!

У Ирэн все основания быть счастливой, а говорят, что она требует отдельную комнату. Он-то знает, чем все это кончается. Если бы еще Сомс пил!

Джемс посмотрел на свою невестку. Взгляд его, никем не замеченный, был холоден и недоверчив. В нем смешались укор и страх и чувство личной обиды. Почему это он должен волноваться? Очень возможно, что все это глупости; женщины такой странный народ! Так преувеличивают, что не знаешь, когда им верить, когда нет, и, кроме того, ему никогда ничего не рассказывают, приходится самому до всего докапываться. И Джемс снова украдкой взглянул на Ирэн, а с нее перевел взгляд на Сомса. Последний, разговаривая с тетей Джули, посматривал исподлобья в сторону Босини.

«Сомс любит ее, я знаю, – подумал Джемс. – Взять хотя бы то, что он постоянно делает ей подарки».

И чудовищная нелепость ее отношения к мужу поразила Джемса с удвоенной силой. Как это грустно! Такая милая женщина! Он, Джемс, сам мог бы привязаться к ней, если б только она позволила. За последнее время она подружилась с Джун: это нехорошо, это очень нехорошо. У нее появляется собственное мнение. Он не может понять, зачем это ей понадобилось? У нее прекрасный дом, она ни в чем не встречает отказа. Джемс пришел к убеждению, что кто-то должен позаботиться о выборе друзей для Ирэн. Иначе дело может принять опасный оборот.

Джун с ее склонностью опекать несчастненьких действительно вырвала у Ирэн признание и в ответ на него провозгласила необходимость пойти на что угодно и, если понадобится, требовать развода. Но, слушая ее доводы, Ирэн задумчиво молчала, словно ей была страшна самая мысль о предстоящей хладнокровной, расчетливой борьбе. Он ни за что не отпустит ее, сказала она Джун.

– Ну и что же из этого? – воскликнула Джун. – Пусть делает все, что угодно, вы только не сдавайтесь! – И она не постеснялась рассказать кое-что у Тимоти; услышав об этом, Джемс почувствовал совершенно естественное негодование и ужас.

Что, если Ирэн – даже страшно подумать! – действительно решит уйти от Сомса? Мысль эта была так невыносима, что Джемс сразу же отбросил ее; она вызывала в воображении смутные картины, в ушах у него уже стояло бормотание

форсайтских языков. Джемса охватывал ужас перед тем, что гласность так близко коснется его жизни, жизни его сына! Счастье, что у нее нет собственных средств – какие-то нищенские пятьдесят фунтов в год. И он с пренебрежением вспомнил покойного Эрона, который ничего не оставил ей. Насупившись над бокалом вина, скрестив под столом свои длинные ноги, Джемс даже забыл встать, когда дамы покидали столовую. Придется поговорить с Сомсом, придется предостеречь его; после всего, что случилось, так продолжаться не может.

И он с раздражением заметил, что Джун не прикоснулась к вину.

«Все зло в этой девчонке, – размышлял он. – Ирэн сама никогда бы до этого не додумалась». Джемс был человек с богатым воображением.

Его размышления прервал голос Суизина.

– Я заплатил за нее четыреста фунтов, – говорил он. – Это настоящее произведение искусства.

– Четыреста фунтов! Уйма денег! – отозвался Николас.

Вещь, о которой шла речь, – замысловатая скульптурная группа итальянского мрамора, поставленная на высокий постамент (тоже из мрамора), – распространяла в комнате атмосферу утонченной культуры. Затейливой работы нижние фигурки обнаженных женщин в количестве шести штук указывали на центральную, тоже обнаженную и тоже женскую, фигуру, которая, в свою очередь, указывала на себя; все в целом создавало у зрителя весьма приятную уверенность в исключительной ценности этой неизвестной особы. Тетя Джули, весь вечер сидевшая напротив нее, прилагала большие усилия, чтобы не смотреть в том направлении.

Заговорил старый Джолион; он и начал весь спор.

– Четыреста фунтов! Ты заплатил за это четыреста фунтов?

Тут Суизин во второй раз за вечер осторожно повел головой, ощущая при этом, как острые уголки воротничка впиваются ему в шею.

– Четыре сотни фунтов английскими деньгами, ни фартингом меньше. И не раскаиваюсь. Это не наша работа, это современная итальянская скульптура!

Сомс улыбнулся уголками губ и взглянул на Босини. Архитектор усмехался, плавая в облаках папиросного дыма. Вот теперь действительно в нем есть что-то пиратское.

– Сложная работа! – поторопился сказать Джемс, на которого размеры группы произвели большое впечатление. – Хорошо пошла бы у Джобсона.

– Этот итальяшка, который ее сделал, – продолжал Суизин, – запросил с меня пятьсот фунтов – я дал четыреста. А вещь стоит все восемьсот. У бедняги был такой вид, будто он умирает с голоду!

– А! – откликнулся вдруг Николас. – Все эти артисты такие жалкие, просто не понимаю, как они живут. Например, этот Флажолетти, которого Фэнни и девочки постоянно приглашают поиграть; дай бог, чтобы он зарабатывал сотню в год!

Джемс покачал головой.

– Да-а! – сказал он. – Я понятия не имею, на что они живут!

Старый Джолион встал и, не вынимая сигары изо рта, подошел к группе, чтобы как следует рассмотреть ее.

– Двухсот бы не дал! – заявил он наконец.

Сомс посмотрел на отца и Николаса, испуганно переглянувшихся, и на сидевшего рядом с Суизином Босини, все еще окутанного дымом.

«Интересно бы узнать его мнение», – подумал Сомс, прекрасно знавший, что группа эта безнадежно *vieux jeu* [5 - Старомодная (фр.)], безнадежно устарела, по крайней мере на целое поколение. У Джобсона такие вещи уже давно не идут.

Наконец раздался ответ Суизина:

– Ты ничего не смыслишь в скульптуре. Твое дело картины – и только!

Старый Джолион вернулся на место, попыхивая сигарой. Он, конечно, не станет затевать спор с этим тупоголовым Суизинем, упрямым как осел, не умеющим отличить статую от соломенной шляпы.

– Гипс! – вот все, что он сказал.

Долгое время Суизин просто не мог открыть рот; он стукнул кулаком по столу.

– Гипс! Поищи-ка у себя в доме хоть что-нибудь, подобное этой вещи!

И в его словах снова послышалась kloкочущая ярость первобытных поколений.

Спас положение Джемс:

– Ну а вы что скажете, мистер Босини? Вы архитектор, вам ведь полагается знать толк во всяких статуях и тому подобных вещах!

Взоры всех обратились на архитектора; все ждали ответа Босини, настороженно и недоверчиво поглядывая на него.

И Сомс, в первый раз вмешавшись в разговор, спросил:

– В самом деле, Босини, что вы скажете?

Босини спокойно ответил:

– Вещь замечательная.

Он обращался к Суизину, а глаза его хитро улыбались старому Джолиону; один Сомс остался неудовлетворенным.

– Замечательная? Чем?

– Своей наивностью.

Наступило выразительное молчание; только один Суизин не был окончательно уверен в том, следует ли это понимать как комплимент или нет.

IV

Проект нового дома

Через три дня после обеда у Суизина Сомс Форсайт, выйдя на улицу, затворил за собой выкрашенную в зеленую краску парадную дверь своего дома и, оглянувшись с середины сквера, окончательно убедился, что дом необходимо окрасить заново.

Он оставил жену в гостиной – она сидела на диване, сложив руки на коленях, и, очевидно, ждала, когда он уйдет. В этом не было ничего необычного. В сущности говоря, так случалось ежедневно.

Он не мог понять, почему Ирэн так плохо относится к нему. Ведь он как будто не пьяница! Разве он влез в долги, играет в карты, несдержан на язык, груб; разве он заводит предосудительные знакомства; проводит ночи вне дома? Совсем наоборот!

Глубоко затаенная неприязнь, которую Сомс чувствовал в Ирэн по отношению к себе, оставалась для него загадкой и служила источником сильнейшего раздражения. То, что ее замужество было ошибкой и она не любила его, Сомса, старалась полюбить и не смогла, – все это, разумеется, не причина.

Тот, кто способен представить себе такую нелепую причину для объяснения ее натянутых отношений с мужем, не может называться Форсайтом.

И поэтому Сомсу приходилось во всем винить жену. Никогда в жизни не встречал он женщины, которая бы так влекла к себе. Где бы они ни появлялись вместе, Сомс неизменно замечал, как все мужчины тянулись к Ирэн: взгляды, движения, голос выдавали их; окруженная таким вниманием, она держалась безукоризненно. Мысль о том, что Ирэн была одной из тех женщин, не часто встречающихся в англосаксонской расе, которые рождены любить и быть

любимыми, для которых без любви нет жизни, разумеется, ни разу не пришла ему в голову. Он смотрел на ее обаяние как на часть той ценности, которую она собой представляла, будучи его вещью, но это наводило на мысль, что Ирэн могла не только получать, но и дарить; а ему она ничего не дарила! «Но зачем же тогда было выходить за меня замуж?» – непрестанно думал Сомс. Он уже забыл время своего сватовства – те полтора года, когда он осаждал и преследовал Ирэн, измышляя всяческие способы, чтобы развлечь ее, поднося подарки, раз за разом делая ей предложение и отваживая других поклонников своим постоянным присутствием. Он уже забыл тот день, когда, умело воспользовавшись приступом отвращения, которое вызывала у нее домашняя обстановка, он увенчал свои старания успехом. Если Сомс и помнил что-нибудь, так только ту капризную грацию, с которой золотоволосая темноглазая девушка обращалась с ним. И разумеется, он не помнил выражения ее лица – выражения отчужденности, покорности и мольбы, – когда в один прекрасный день она сдалась и сказала, что будет его женой.

Это было то настоящее пылкое поклонение, столь превозносимое и писателями и простыми смертными, когда влюбленный, сумев наконец сделать металл податливым, получает награду за свои труды и вступает в жизнь – счастливую, как звон свадебных колоколов.

Сомс повернул в восточном направлении, упрямо держась теневой стороны улицы.

Дом необходимо отремонтировать или надо строиться за городом и переезжать туда.

В сотый раз за последний месяц он принялся обдумывать этот план. Никогда не следует торопиться! Средства есть, доходы вырастают до трех тысяч фунтов в год; правда, капитал у него не такой солидный, как считает отец, – Джемс был склонен преувеличивать состояние своих детей. «Тысяч восемь я легко могу потратить, – соображал Сомс, – и не надо будет обращаться к Робертсону или к Николлу».

Он остановился у одной из витрин, где были выставлены картины. Сомс был «любителем» живописи: небольшая комната в доме № 62 на Монпелье-сквер была заполнена холстами, стоявшими вдоль стен, так как их негде было вешать. Он привозил картины домой, возвращаясь из Сити обычно уже в сумерках, а по воскресеньям заходил в эту комнату и целыми часами поворачивал картины к

свету, изучал надписи на обороте и время от времени отмечал что-то в записной книжке.

По большей части это были пейзажи с фигурами на переднем плане – символ какого-то тайного протеста против Лондона с его высокими домами и бесконечными улицами, где протекала его жизнь и жизнь людей его племени и класса. Иногда Сомс брал одну-две картины и, отправляясь в Сити, останавливал кеб у Джобсона.

Он редко показывал кому-нибудь свою коллекцию. Ирэн, мнение которой он втайне уважал и, вероятно, поэтому никогда о нем не спрашивался, бывала здесь очень редко – только в тех случаях, когда ее призывал долг хозяйки. Ей не предлагали посмотреть картины, и она не смотрела их. Для Сомса это было еще одним поводом для обиды. Он ненавидел эту гордость и втайне боялся ее.

С зеркального стекла витрины на Сомса смотрело его собственное отражение.

На гладких волосах, видневшихся из-под полей цилиндра, лежал такой же глянец, как и на самом цилиндре; бледное узкое лицо, линия чисто выбритых губ, твердый подбородок со стальным отливом от бритья и строгость застегнутой на все пуговицы черной визитки придавали ему замкнутый и непроницаемый вид, пронизывали весь облик невозмутимым, подчеркнутым самообладанием; только глаза – холодные, серые, напряженные, с залегшей между бровями складкой – глядели на Сомса печально, словно знали его тайную слабость.

Он рассмотрел картины, подписи художников, прикинул, сколько эти вещи могут стоить, не испытывая удовлетворения, которое обычно доставляла ему такая мысленная оценка, и пошел дальше.

В доме № 62 можно прожить еще с год, если решиться строить новый! Время для стройки самое подходящее: деньги уже давно не были так дороги; а лучше того места, которое он присмотрел в Робин-Хилле весной, когда ездил туда по делу Николла, ничего и быть не может! Двенадцать миль от Гайд-парка, цены на землю наверняка поднимутся, всегда можно будет получить больше, чем заплатил; такой дом, если его выстроить в хорошем стиле, – верные деньги.

Сознание, что он единственный в семье будет обладателем загородного дома, не имело особенного значения для Сомса; истый Форсайт считает всякие сантименты, даже сантименты, связанные с общественным положением, роскошью, о которой можно думать только после того, как аппетиты будут утолены другими, более существенными вещами.

Увезти Ирэн из Лондона, лишить ее возможности встречаться с людьми, увезти от друзей и от тех, кто сбивает ее с толку! Вот что самое главное! Она слишком подружилась с Джун! Джун его не любит. Он отвечает ей тем же. Они ведь одной крови!

Увезти Ирэн за город – в этом все. Дом ей понравится, она с удовольствием возьмет на себя хлопоты по мебелировке – ведь у нее такая художественная натура!

Дом нужно выстроить в хорошем стиле, чтобы стоимость его сразу бросалась в глаза, – что-нибудь единственное в своем роде, как дом Паркса с башней; но Паркс сам рассказывал, что архитектор разорил его. От этих людей всего можно ждать: если архитектор с именем, он втравит в такие расходы, что только держись, да еще заставит считаться со своими причудами.

Брать же рядового архитектора не стоит – башня Паркса исключала всякую возможность приглашения рядового архитектора. Вот почему Сомс подумал о Босини. После обеда у Суизина он навел справки, в результате которых получил скудные, но вместе с тем утешительные сведения: «архитектор новой школы».

– Талантливый?

– Безусловно талантливый, только немножко... немножко витает в облаках!

Сомсу так и не удалось разузнать, какие дома Босини уже построил и сколько он берет. Впечатление же создалось такое, что можно будет поставить свои условия. Чем больше Сомс думал об этом плане, тем больше он ему нравился. Все будет обделано в семейном кругу, к чему Форсайты стремятся почти инстинктивно; кроме того, Сомс сможет «приобрести» архитектора если и не совсем по дешевке, то с «пониженной пошлиной», а это только справедливо, принимая во внимание, что Босини будет предоставлена возможность обнаружить свои таланты, так как дом Сомса не должен быть заурядным.

Мысль о том, что молодой человек получит хорошую работу, доставляла ему удовольствие. Сомс, как и все Форсайты, обладал непоколебимым оптимизмом, когда из оптимизма можно было извлечь выгоду.

Контора Босини помещается на Слоун-стрит, совсем под рукой, можно будет следить за разработкой проекта.

К тому же Ирэн вряд ли станет возражать против переезда за город, если при этом условии жених ее лучшей подруги получит работу. Может быть, от этого будет зависеть счастье Джун. Ирэн не захочет мешать ее счастью; ни в коем случае не захочет, ведь он ее знает. И Джун останется довольна; а в этом есть известная выгода.

Босини на вид очень толковый малый, но, помимо всего прочего, у него есть одна черта, чрезвычайно привлекательная: в деловом отношении он несомненный простачок – денежный вопрос с ним будет нетрудно уладить. Сомс пришел к этому выводу без всякого намерения надуть Босини: таков был образ мышления у него и у всякого хорошего дельца – у тысячи хороших дельцов, сквозь толпы которых он пробирался по Лэдгейт-Хилл.

И, с удовлетворением размышляя о том, что с Босини будет нетрудно уладить денежный вопрос, Сомс подчинялся сокровенным законам великого класса, к которому он принадлежал, – законам самой природы.

Пробираясь сквозь толпу, Сомс, обычно смотревший себе под ноги во время ходьбы, поднял глаза на собор Св. Павла. Старый собор чем-то притягивал его к себе, и Сомс не один, а два и три раза в неделю заходил сюда во время своих дневных странствований и по пять, по десять минут стоял в боковых приделах, читая имена и эпитафии на гробницах. Трудно сказать, чем привлекал Сомса этот величественный храм, разве только тем, что здесь ему было легче собраться с мыслями о деловом дне. Если голова его была занята каким-нибудь особенно важным или требующим особенной проницательности делом, он всякий раз заглядывал сюда и неслышно, как мышь, бродил от одной гробницы к другой. Потом, так же бесшумно выйдя на улицу, он твердыми шагами шел по Чипсайд, и в походке его чувствовалось еще большее упорство, как будто он шел с твердым намерением купить вещь, которая только что привлекла к себе его внимание.

Сомс зашел в собор и в это утро, но, вместо того чтобы бродить от эпитафии к эпитафии, перевел глаза на колонны и пролеты стен и замер в неподвижности.

Под громадными сводами собора его запрокинутое лицо, благоговейное и задумчивое, какими становятся все лица в церкви, казалось белым от падавшего на него мелового отсвета. Руки в перчатках сжимали зонтик, который он держал прямо перед собой. Сомс поднял их. Может быть, на него снизошло святое вдохновение.

«Да, – мысленно сказал Сомс, – надо же когда-нибудь развесить картины».

В тот же вечер, возвращаясь из Сити, он зашел к Босини. Архитектор сидел без пиджака, с трубкой в зубах, и чертил какой-то план. Сомс отказался от вина и сразу перешел к делу.

– Если в воскресенье у вас не предвидится ничего более интересного, давайте съездим в Робин-Хилл, я хочу посоветоваться с вами относительно одного участка для постройки.

– Вы думаете строиться?

– Может быть, – сказал Сомс, – только никому не рассказывайте об этом. Я просто хочу посоветоваться с вами.

– Понимаю, – сказал архитектор.

Сомс оглядел комнату.

– Высоко вы забрались! – заметил он.

Все подробности о характере и размерах работы Босини, которые ему удастся подметить, могут пригодиться в будущем.

– Пока что мне здесь удобно, – ответил Босини. – Вы просто привыкли к роскоши.

Он выбил трубку и, пустую, опять сунул ее в рот, – так, вероятно, ему было легче разговаривать. Сомс заметил, что щеки у Босини впалые, должно быть, от

постоянного сосания трубки.

– Сколько вы платите за такое помещение? – спросил он.

– Пятьдесят, и не плачу, а переплачиваю, – ответил Босини.

Ответ произвел на Сомса благоприятное впечатление.

– Да, дороговато, – сказал он. – Я заеду за вами в воскресенье часов в одиннадцать.

И в следующее воскресенье он заехал за Босини в кабриолете и повез его на вокзал. На станции в Робин-Хилле лошадей не оказалось, и они прошли полторы мили до участка пешком.

Было первое августа – прекрасный жаркий день; в небе ни облака. Их башмаки поднимали желтую пыль на прямой узкой дороге, взбегавшей на вершину холма.

– Гравий, – заметил Сомс и поглядел искоса на пальто Босини. Из карманов этого пальто торчали связки бумаг, под мышкой архитектор нес какую-то замысловатую палку. Сомс заметил эти, а также и еще кое-какие подробности.

Только талантливый человек или действительно «пират» мог позволить себе такую небрежность в костюме; и хотя эксцентричность Босини возмущала Сомса, до некоторой степени он даже остался доволен ею как признаком известных качеств, суливших ему самому выгоду. Если этот малый умеет строить дома, стоит ли обращать внимание на его костюм?

– Я уже говорил вам, что пока держу постройку в секрете, – сказал Сомс, – и вы тоже никому не рассказывайте. Я никогда не говорю о своих делах, пока они не закончены.

Босини мотнул головой.

– Только заикнись женщине о своих планах, – продолжал Сомс, – конца не увидишь болтовне.

– Да-а! – сказал Босини. – Уж эти женщины!

В глубине души Сомс давно пришел к такому же заключению; правда, он никогда не высказывал этой мысли вслух.

– А! – пробормотал Сомс. – Значит, вы уже начинаете... – Он запнулся, но не сдержал себя и закончил с раздражением: – Джун тоже с характером – всегда этим отличалась.

– Характер не такая уж плохая вещь для ангела.

Сомс никогда не называл Ирэн ангелом. Он не мог насиловать свой характер, раскрывая посторонним ее ценность и тем самым выдавая себя. Пришлось промолчать.

Запущенная дорога вывела их на пустырь. Колеи заворачивали под прямым углом к разработкам гравия, за которыми, среди кучки деревьев на опушке густого леса, поднимались трубы коттеджа. Пучки пушистой травы покрывали сухую землю, и жаворонки взлетали из ее зарослей прямо в сияющее небо. Вдали, на горизонте, за бесконечной вереницей изгородей и полей вставала линия холмов.

Сомс провел Босини в крайний угол пустыря и остановился. Выбранный участок был здесь; но теперь, когда приходилось показывать его другому, Сомс пришел в замешательство.

– Агент живет вон в том коттедже, он даст нам позавтракать, давайте сначала поедим, а потом уже приступим к делу, – сказал Сомс.

Он снова пошел первым к коттеджу, где их встретил агент Оливер, высокий человек с мясистым лицом и седеющей бородой. За завтраком Сомс почти ничего не ел, разглядывал Босини и раза два украдкой вытер лоб шелковым носовым платком. Наконец завтрак кончился, и Босини встал.

– Вам, вероятно, надо переговорить о делах, – сказал он, – а я пока что пойду осмотрюсь немного. – И, не дожидаясь ответа, вышел.

Сомс (он был поверенным владельца имения) провел в обществе агента около часа, рассматривая планы участков и обсуждая закладные Николла и других своих доверителей; и в конце, как будто вспомнив вдруг об интересующем его деле, перевел разговор на другую тему.

– Ваши хозяева, – сказал он, – должны уступить мне подешевле, ведь я первый начинаю здесь строиться.

Оливер покачал головой.

– Участок, который вы себе присмотрели, сэр, – сказал он, – считается у нас самым дешевым. Те, что на вершине холма, будут подороже.

– Имейте в виду, – сказал Сомс, – что я еще не решил окончательно; весьма возможно, что я раздумаю строиться. Налоги чересчур высоки.

– Что ж, мистер Форсайт, очень жаль, если вы раздумаете; по-моему, это будет ошибкой с вашей стороны, сэр. Разве вы найдете под Лондоном другой участок с таким прекрасным видом и за такую цену? Нам стоит только дать публикацию – от покупателей не будет отбоя.

Они взглянули друг на друга. На их лицах было ясно написано: «Я уважаю вас как делового человека, но не надейтесь, что я поверю хоть одному вашему слову».

– Ну что ж, – повторил Сомс, – я окончательно не решаю, очень возможно, что ничего не выйдет! – С этими словами он взял зонтик, сунул агенту свои холодные пальцы и, отдернув их без малейшего рукопожатия, вышел на солнце.

Погрузившись в глубокое раздумье, он медленно шел к облюбованному участку. Инстинкт подсказывал ему, что агент говорил правду. Участок дешевый. Но самая прелесть была в том, что агент, как Сомс был уверен, в действительности не считал участок дешевым; значит, его собственная интуиция взяла верх над интуицией агента.

«Дешево или дорого, я все равно куплю», – думал Сомс.

Жаворонки взлетали у него прямо из-под ног, в воздухе порхали бабочки, от густой травы шел нежный запах. Из леса, где, спрятавшись в зарослях, ворковали голуби, тянуло папоротником, и теплый ветер нес издали мерный перезвон колоколов.

Сомс шел, опустив глаза, губы его то сжимались, то разжимались, словно в предвкушении лакомого кусочка. Но, дойдя до места, он не нашел там Босини. Подождав несколько минут, Сомс пересек пустырь, ведущий к склону холма. Он хотел было крикнуть, но побоялся звука собственного голоса.

На лугу было пустынно, как в прериях, тишину нарушала только беготня кроликов, прятавшихся по своим норкам, и песнь жаворонка.

Сомса – вожака головного отряда великой армии Форсайтов, несущих цивилизацию в эту глушь, – угнетали тишина луга, пение незримых жаворонков и душный, пряный воздух. Он повернул было назад, но в эту минуту увидел Босини.

Архитектор лежал, растянувшись под громадным старым дубом, поднимавшим над самым откосом свои могучие ветви с густой листвой.

Сомсу пришлось тронуть Босини за плечо, чтобы тот заметил его.

– Алло, Форсайт! – сказал архитектор. – Я нашел самое подходящее место для вашего дома. Посмотрите!

Сомс постоял, посмотрел, потом сказал холодно:

– Может быть, ваш выбор и неплох, но этот участок обойдется мне в полтора раза дороже.

– Плюньте на цену. Полюбуйтесь, какой вид!

Почти около самых ног у них расстилось золотистое поле, кончавшееся небольшой темной рощей. Луга и изгороди уходили к далеким серо-голубым холмам. Вдали справа серебряной полоской поблескивала река.

Небо было такое синее, солнце такое горячее, – казалось, что лето царит здесь вечно. Пушинка чертополоха проплыла мимо них, упоенная безмятежностью воздуха. Над полем дрожал зной, все кругом было пронизано нежным, еле уловимым жужжанием, словно мгновения радости, в буйном веселье проносившиеся между землей и небом, шептали что-то друг другу.

Сомс продолжал смотреть. Против воли что-то ширилось у него в груди. Жить здесь и видеть перед собой этот простор, показывать его знакомым, говорить о нем, владеть им! Щеки его вспыхнули. Тепло, блеск, сияние захватили Сомса так же, как четыре года назад его захватила красота Ирэн. Он взглянул украдкой на Босини, глаза которого – глаза «полудикого леопарда», как его назвал кучер старого Джолиона, – с жадностью блуждали по ландшафту. Яркое солнце еще сильнее подчеркивало резкие черты его лица, выдающиеся скулы, подбородок, вертикальные складки на лбу; и Сомс с неприязненным чувством глядел на это суровое, вдохновенное, бездумное лицо.

Мягкая волна зыби прошла по полю, и ветер тепло пахнул на них.

– Какой дом я бы вам здесь построил! – сказал Босини, прервав наконец молчание.

– Ну еще бы! – сухо ответил Сомс. – Ведь вам не придется платить за него.

– Тысяч так за восемь я выстрою вам дворец.

Сомс побледнел – он боролся с собой. Потом опустил глаза и сказал упрямо:

– Мне это не по средствам.

И направил свои медленные, осторожные шаги обратно на первый участок.

Они пробыли там еще некоторое время, обсуждая детали будущего дома, а затем Сомс вернулся в коттедж к агенту.

Через полчаса он вышел и вместе с Босини отправился на станцию.

– Так вот, – сказал Сомс, еле разжимая губы, – я все-таки остановился на вашем участке.

И снова замолчал, недоумевая, каким образом этот человек, которого он не мог не презирать, заставил его, Сомса, изменить свое решение.

V

Семейный очаг Форсайта

Как и вся просвещенная верхушка лондонцев одного с ним класса и поколения, уже утратившая веру в красную плюшевую мебель и понимавшая, что итальянские мраморные группы современной работы – просто *vieux jeu*, Сомс Форсайт жил в таком доме, который мог сам постоять за себя. На входной его двери висел медный молоток, выполненный по специальному заказу, оконные рамы были переделаны и открывались наружу, в подвесных цветочных ящиках росла фуксия, а за домом (немаловажная деталь) был маленький дворик, вымощенный зелеными плитами и уставленный по краям розовыми гортензиями в ярко-синих горшках. Здесь, под японским тентом цвета пергамента, закрывавшим часть двора, обитатели дома и гости, защищенные от любопытных взоров, пили чай и разглядывали на досуге последние новинки из коллекции табакерок Сомса.

Внутреннее убранство комнат отдавало дань стилю ампир и Уильяму Моррису. Дом был хоть и небольшой, но довольно вместительный, с множеством уютных уголков, напоминавших птичьи гнездышки, и множеством серебряных безделушек, которые лежали в этих гнездышках, как яички.

На общем фоне этого совершенства вели борьбу два различных вида изысканности. Здесь жила хозяйка, которая могла бы окружить себя изяществом даже на необитаемом острове, и хозяин, утонченность которого была, в сущности говоря, капиталом, одним из средств для достижения жизненных успехов в полном соответствии с законами конкуренции. Эта утонченность, продиктованная законами конкуренции, вынуждала Сомса еще в школе в Мальборо первым надевать зимой вельветовый жилет, а летом – белый, не позволяла появляться в обществе с криво сидящим галстуком и однажды

заставила его смахнуть пыль с лакированных ботинок на виду у всей публики, собравшейся в день акта слушать, как он будет декламировать Мольера.

Безупречность приросла к Сомсу и к многим другим лондонцам, как кожа: немыслимо вообразить его с растрепанными волосами, с галстуком, отклонившимся от перпендикуляра на одну восьмую дюйма, с воротничком, не сияющим белизной! Никакими силами нельзя было заставить его обойтись без ванны – ванны тогда входили в моду; и какое глубочайшее презрение питал он к тем, кто пренебрегал ежедневной ванной!

А Ирэн могла бы купаться в придорожном ручье, как нимфа, которая рада прохладе и любит свое прекрасное тело.

В этой борьбе, которая велась в стенах дома, женщине пришлось уступить. Так и в поединке между англосаксонским и кельтским духом, все еще не затихающем внутри нации, более впечатлительному и податливому темпераменту пришлось примириться с навязанным ему грузом условностей.

И дом Сомса приобрел очень близкое сходство с сотнями других домов, олицетворявших столь же возвышенные стремления, и стал тем, о чем говорили: «Очаровательный домик у Сомса Форсайта, такой оригинальный, милочка, по-настоящему элегантный!»

Подставьте вместо Сомса Форсайта Джемса Пибоди, Томаса Аткинса, Эммануила Спаньоветти или любого англичанина из лондонской буржуазии, выдающего претензии на хороший вкус, и пусть убранство их домов будет несколько различным – оценка эта применима к ним всем.

Восьмого августа, через неделю после поездки в Робин-Хилл, в столовой этого дома – «такого оригинального, милочка, по-настоящему элегантного» – Сомс и Ирэн сидели вечером за обеденным столом. Горячий обед по воскресным дням был изысканно-элегантной черточкой, свойственной и этому и многим другим домам.

Вскоре после женитьбы Сомс издал рескрипт: «Прислуга должна позаботиться о горячем обеде по воскресеньям – все равно бездельничают, играют с утра до вечера на концертино». Это нововведение не вызвало революции. Слуги – Сомса это всегда коробило – обожали Ирэн, которая, наперекор всем здравым

традициям, признавала за ними право на слабости, свойственные человеческой природе.

Счастливая пара восседала за красивым столом палисандрового дерева не vis-à-vis, а наискось друг от друга; они обедали без скатерти – еще одна изысканно-элегантная черточка – и до сих пор еще не обменялись ни словом.

За обедом Сомс любил поговорить о делах, о своих покупках, и, пока он говорил, молчание Ирэн не смущало его. Но в этот вечер говорить было трудно. Решение о постройке нового дома целую неделю не выходило у Сомса из головы, и сегодня наконец он собрался поделиться этим с Ирэн.

Волнение, которое он испытывал, готовясь сообщить свою новость, бесило его самого: зачем она ставит его в такое положение – ведь муж и жена едины. За весь обед она даже ни разу не взглянула на него; и Сомс не мог понять, о чем она думает все это время. Тяжело, когда человек трудится так, как трудится он, добывает для нее деньги – да, для нее, и с болью в сердце! – а она сидит здесь и смотрит, смотрит, как будто ждет, что эти стены того и гляди придавят ее. От одного этого можно встать из-за стола и уйти из комнаты.

Свет лампы, затененной розовым абажуром, падал ей на шею и руки – Сомс любил, чтобы Ирэн выходила к обеду декольтированной: это давало ему неизъяснимое чувство превосходства над большинством знакомых, жены которых, обедая дома, ограничивались домашними платьями или закрытыми вечерними туалетами. В розовом свете лампы янтарные волосы и белая кожа Ирэн так странно подчеркивали ее темно-карие глаза.

Разве может человек обладать чем-нибудь более прекрасным, чем этот обеденный стол глубоких, сочных тонов, эти нежные лепестки роз, мерцающих, точно звезды, бокалы, отливающие рубином, и изысканное серебро сервировки; разве может человек обладать чем-нибудь более прекрасным, чем эта женщина, которая сидит за его столом? Чувство благодарности не входило в список форсайтских добродетелей – в Форсайтах слишком много здравого смысла и духа соперничества, чтобы ощущать потребность в этом чувстве, – и Сомс испытывал только граничащее с болью раздражение при мысли, что ему не дано обладать ею так, как полагалось бы по праву, что он не может протянуть к ней руку, как к этой розе, взять ее и вдохнуть в себя весь сокровенный аромат ее сердца.

Все, что принадлежало ему – серебро, картины, дома, деньги, – все это было свое, близкое; но ее близости он не чувствовал.

В его доме пророческие строки горели на каждой стене. Деловитая натура Сомса восставала против темного предсказания, что Ирэн предназначена не для него. Он женился на этой женщине, завоевал ее, сделал своей собственностью, и то, что теперь ему не дано ничего другого, как только владеть ее телом (Да владел ли он им? Теперь и это начинало казаться сомнительным.), шло вразрез с самым основным законом, законом собственности. Спроси кто-нибудь Сомса, хочет ли он владеть ее душой, вопрос показался бы ему и смешным и сентиментальным. На самом же деле он хотел этого, а пророчество гласило, что ему никогда не добиться такой власти.

Она всегда была молчалива, пассивна, всегда относилась к нему с грациозной сдержанностью, словно боясь, что он может истолковать какое-нибудь ее слово, жест или знак как проявление любви. И Сомс задавал себе вопрос: неужели это никогда не кончится?

Взгляды Сомса, как и взгляды многих его сверстников, складывались не без влияния литературы (а Сомс был большим любителем романов); он твердо верил, что время может сгладить все. В конце концов мужья всегда завоевывают любовь своих жен. Даже в тех случаях, которые кончались трагически – такие книги Сомс недолюбливал, – жена всегда умирала со словами горького раскаяния на устах, а если умирал муж – весьма неприятно! – она бросалась на его труп, обливаясь горькими слезами.

Сомс часто возил Ирэн в театр, бессознательно выбирая современные пьесы из великосветской жизни, трактующие современную проблему брака в таком плане, который, по счастью, не имеет ничего общего с действительностью. Сомс видел, что и у этих пьес конец всегда одинаков, даже если на сцене появляется любовник. Следя за ходом спектакля, Сомс часто сочувствовал любовнику; но, не успев даже доехать с Ирэн до дому, он приходил к заключению, что был не прав, и радовался, что пьеса кончилась так, как ей и следовало кончиться. В те дни на сцене фигурировал тип мужа, входивший тогда в моду: тип властного, грубоватого, но исключительно здравомыслящего мужчины, который к концу пьесы всегда одерживал полную победу; такой персонаж не вызывал у Сомса симпатий, и, сложись его семейная жизнь по-иному, он не преминул бы высказать, какое отвращение вызывают у него подобные субъекты. Но Сомс так ясно ощущал необходимость быть победоносным и даже «властным» мужем, что

никогда не выказывал своего отвращения, которое природа окольными путями вывела, быть может, из таившейся в нем самой жестокости.

Однако в этот вечер Ирэн была особенно молчалива. Он никогда еще не видел такого выражения на ее лице. И так как необычное всегда тревожит, Сомс встревожился. Он кончил есть маслины и поторопил горничную, сметавшую серебряной щеточкой крошки со стола. Когда она вышла, Сомс налил себе вина и сказал:

– Был кто-нибудь сегодня?

– Джун.

– Что ей понадобилось? – Форсайты считают за непреложную истину, что люди приходят только тогда, когда им что-нибудь нужно. – Наверное, приходила поболтать о женихе?

Ирэн молчала.

– Мне кажется, – продолжал Сомс, – что Джун влюблена в Босини гораздо больше, чем он в нее. Она ему проходу не дает.

Он почувствовал себя неловко под взглядом Ирэн.

– Ты не имеешь права так говорить! – воскликнула она.

– Почему? Это все замечают.

– Неправда. А если кто-нибудь и замечает, стыдно говорить такие вещи.

Самообладание покинуло Сомса.

– Нечего сказать, хорошая у меня жена! – воскликнул он, но втайне удивился ее горячности: это было не похоже на Ирэн. – Ты помешалась на своей Джун! Могу сказать только одно: с тех пор как она взяла на буксир этого «пирата», ей стало не до тебя, скоро ты сама в этом убедишься. Правда, теперь вам не придется часто видеть друг друга: мы будем жить за городом.

Сомс был рад, что случай позволил ему сообщить эту новость под прикрытием раздражения. Он ждал вспышки с ее стороны; молчание, которым были встречены его слова, беспокоило его.

– Тебе, кажется, все равно? – пришлось ему добавить.

– Я уже знаю об этом.

Он быстро взглянул на нее.

– Кто тебе сказал?

– Джун.

– А она откуда знает?

Ирэн ничего не ответила. Сбитый с толку, смущенный, он сказал:

– Прекрасная работа для Босини; он сделает на ней имя. Джун все тебе рассказала?

– Да.

Снова наступило молчание, затем Сомс спросил:

– Тебе, наверное, не хочется переезжать?

Ирэн молчала.

– Ну я не знаю, чего ты хочешь. Здесь тебе тоже не по душе.

– Разве мои желания что-нибудь значат?

Она взяла вазу с розами и вышла из комнаты. Сомс остался за столом. И ради этого он подписал контракт на постройку дома? Ради этого он готов выбросить

десять тысяч фунтов? И ему вспомнились слова Босини: «Уж эти женщины!»

Но вскоре Сомс успокоился. Могло быть и хуже. Она могла вспылить. Он ожидал большего. В конце концов, получилось даже удачно, что Джун первая пробила брешь. Она, должно быть, вытянула признание у Босини; этого следовало ждать.

Он закурил папиросу. В конце концов, Ирэн не устроила ему сцены. Все обойдется – это самая хорошая черта в ее характере: она холодна, зато никогда не дуется. И, пустив дымом в божью коровку, севшую на полированный стол, он погрузился в мечты о доме. Не стоит волноваться; он пойдет сейчас к ней – и все уладится. Она сидит там во дворике, под японским тентом, в руках у нее вязанье. Сумерки, прекрасный теплый вечер...

Джун действительно явилась в то утро с сияющими глазами и выпалила:

– Сомс молодец! Это именно то, что Филу нужно!

И, глядя на непонимающее, озадаченное лицо Ирэн, она пояснила:

– Да ваш новый дом в Робин-Хилле. Как? Вы ничего не знаете?

Ирэн ничего не знала.

– А! Мне, должно быть, не следовало рассказывать! – И, нетерпеливо взглянув на свою приятельницу, Джун добавила: – Неужели вам все равно? Ведь я только этого и добивалась, Фил только и ждал, когда ему представится такая возможность. Теперь вы увидите, на что он способен. – И вслед за этим она выложила все.

Став невестой, Джун как будто уже меньше интересовалась делами своей приятельницы; часы, которые они проводили вместе, посвящались теперь разговорам о ее собственных делах; и временами, несмотря на горячее сочувствие к Ирэн, в улыбке Джун проскальзывали жалость и презрение к этой женщине, которая совершила такую ошибку в жизни – такую громадную, нелепую ошибку.

– И отделку дома он ему тоже поручает – полная свобода. Замечательно! – Джун расхохоталась, ее маленькая фигурка дрожала от радостного волнения; она подняла руку и хлопнула ею по муслиновой занавеске. – Знаете, я просила даже дядю Джемса... – Но неприятные воспоминания об этом разговоре заставили ее замолчать; почувствовав, что Ирэн не отзывается на ее радость, Джун скоро ушла. Выйдя на улицу, она оглянулась: Ирэн все еще стояла в дверях. В ответ на прощальный жест Джун она приложила руку ко лбу и, медленно повернувшись, затворила за собой дверь...

Сомс прошел в гостиную и украдкой выглянул из окна.

Во дворике, в тени японского тента, тихо сидела Ирэн; кружево на ее белых плечах чуть заметно шевелилось вместе с дыханием, поднимавшим ее грудь.

Но в этой молчаливой женщине, неподвижно сидевшей в сумерках, чувствовалось тепло, чувствовался затаенный трепет, словно вся она была охвачена волнением, словно что-то новое рождалось в самых глубинах ее существа.

Он прокрался обратно в столовую незамеченным.

VI

Джемс во весь рост

Не много времени понадобилось на то, чтобы слух о решении Сомса облетел всю семью и вызвал среди родственников то волнение, которое неизменно охватывает Форсайтов при всяком известии о каких-либо переменах, связанных с имущественным положением одного из них.

Сомс тут был ни при чем, он твердо решил никому не говорить о постройке дома. Джун от избытка радости сообщила новость миссис Смолл, позволив ей рассказать об этом только тете Энн, – она рассчитывала, что это подбодрит старушку! Тетя Энн уже много дней не покидала своей комнаты.

Миссис Смолл сразу же поделилась новостью с тетей Энн, а та улыбнулась, не поднимая головы от подушки, и проговорила дрожащим внятным голосом:

– Как это хорошо для Джун; но все-таки надо быть очень осторожным – это так рискованно!

Когда тетю Энн снова оставили одну, лицо ее омрачилось тревогой, словно облаком, предвещающим дождливое утро.

Лежа столько дней у себя в комнате, она ни на одну минуту не переставала набираться силы воли; этот процесс отражался и на ее лице – легкие складки то и дело залегали в уголках ее губ.

Горничная Смизер, поступившая в услужение к тете Энн еще совсем молоденькой, – та самая Смизер, о которой говорили: «Хорошая девушка, но такая нерасторопная», – каждое утро с необычайной пунктуальностью добавляла последний, завершающий штрих к издревле заведенной церемонии облачения тети Энн. Вынув из недр сияющей белизной картонки плоские седые букли – знак личного достоинства тети Энн, Смизер передавала их из рук в руки своей хозяйке и поворачивалась к ней спиной.

И каждый день тетя Джули и тетя Эстер должны были являться к Энн с докладом о Тимоти, о том, что слышно у Николаса, удалось ли Джун уговорить Джолиона не откладывать свадьбу на долгий срок, раз мистер Босини строит теперь дом для Сомса, правда ли, что жена молодого Роджера в ожидании, как чувствует себя Арчи после операции и что Суизин решил делать с домом на Уигмор-стрит, арендатор которого разорился и так нехорошо поступил с Суизином; но больше всего – о Сомсе; неужели Ирэн все еще... настаивает на отдельной комнате? И каждое утро Смизер говорилось одно и то же: «Я сойду сегодня вниз, Смизер, так часа в два. Мне потребуется ваша помощь – я совсем отвыкла ходить!»

Сообщив новость тете Энн, миссис Смолл под величайшим секретом рассказала о постройке дома миссис Николас, которая, в свою очередь, спросила Уинифрид Дарти, правда ли это, полагая, конечно, что сестра Сомса должна быть в курсе дела. От Уинифрид, как того и следовало ожидать, новость дошла и до ушей Джемса. Он взволновался.

– Мне никогда ничего не рассказывают, – заявил Джемс. И, вместо того чтобы пойти прямо к Сомсу, молчаливость которого его всегда отпугивала, он взял зонтик и отправился к Тимоти.

Миссис Септимус и Эстер (ей тоже рассказали – она человек надежный, быстро утомляется от излишних разговоров) с готовностью и даже с большой охотой принялись обсуждать новость. Как мило со стороны Сомса дать работу мистеру Босини! Правда, это очень рискованный поступок. Как это Джордж его прозвал? «Пират»! Забавно! Джордж всегда придумает что-нибудь забавное! Во всяком случае, все будет сделано в семейном кругу – они полагают, что Босини уже можно считать членом семьи, хотя это так странно.

Тут Джемс прервал их:

– Об этом молодом человеке никто ничего не знает. Не понимаю, зачем Сомсу понадобилось связываться с ним. Уж, наверное, дело не обошлось без вмешательства Ирэн. Я поговорю с...

– Сомс просил мистера Босини молчать об этом, – вмешалась тетя Джули. – Я уверена, что ему будет неприятно, если пойдут разговоры; только бы Тимоти ничего не узнал, а то он очень расстроится, я...

Джемс приложил ладонь к уху.

– Что? – спросил он. – Я окончательно глухну. Ни слова не слышу. У Эмили опять припадок подагры. Едва ли нам удастся поехать в Уэльс раньше конца месяца. Вечно что-нибудь стрясется! – И, разузнав все, что ему было нужно, он взял шляпу и удалился.

День был чудесный, и Джемс пошел пешком через Гайд-парк к Сомсу, где он собирался пообедать, так как Эмили лежала из-за подагры в постели, а Рэчел и Сесили гостили за городом. Он пересек Роу и направился к Найтсбридж-Гейт через коротко подстриженную, спаленную солнцем лужайку, где бродили овцы, сидели влюбленные парочки и прямо на траве ничком, как тела на поле, над которым только что пронеслась битва, лежали бездомные бродяги.

Джемс шел быстро, опустив голову, не глядя по сторонам. Вид парка – центрального места того поля битвы, на котором сам он сражался всю свою

жизнь, не вызывал у него ни дум, ни размышлений. Эти тела, выброшенные сюда сумятицей и напором борьбы, эти влюбленные, которые сидели здесь, тесно прижавшись друг к другу, урвав у тягостной монотонности дня какой-нибудь час безмятежного райского блаженства, не будили мечтаний в голове Джемса; он давно пережил такую мечтательность; его нос, как нос овцы, был устремлен вниз, на пастбище, на котором он пасся.

Один из его съемщиков с некоторых пор перестал торопиться со взносом квартирной платы, и перед Джемсом вставал серьезный вопрос – не выкинуть ли его ни минуты не медля, хотя бы и рискуя остаться до Рождества без арендатора. Суизин уже нарвался на такую историю, и поделом ему – нечего было тянуть.

Поглощенный своими мыслями, Джемс твердым шагом шел вперед, аккуратно держа зонтик чуть пониже ручки, так, чтобы шелк не потрепался посередине и кончик зонта не доходил до земли. Высоко подняв худые плечи, Джемс быстро, с точностью механизма переступал своими длинными ногами, и его шествие через парк, залитый ярким солнцем, светившим над безмятежностью лужайки, над людьми, вырвавшимися из жестокой битвы Собственности, бушевавшей там, за оградой, напоминало полет птицы, покинувшей привычную землю и внезапно очутившейся над морем.

Выйдя на Алберт-Гейт, он почувствовал, как кто-то тронул его за рукав.

Это был Сомс: возвращаясь домой из конторы, он перешел с теневой стороны Пиккадилли на солнечную и зашагал рядом с отцом.

– Мама лежит, – сказал Джемс, – я как раз шел к тебе; впрочем, может быть, я помешаю?

С внешней стороны отношения между Джемсом и сыном отличались полным отсутствием сентиментальности, как и у всех истых Форсайтов, однако отнюдь нельзя сказать, чтобы отец и сын не чувствовали взаимной привязанности. Возможно, что они смотрели друг на друга как на капитал, вложенный в солидное предприятие: каждый из них заботился о благосостоянии другого и испытывал удовольствие от его общества. Но они ни разу в жизни не перекинулись словом о более интимных вопросах, ни разу не обнаружили в присутствии друг друга какое-нибудь глубокое чувство.

Их связывало что-то такое, что было сильнее слов, что таилось в самой сущности нации, семьи, – ведь кровь не вода, а ни того ни другого нельзя было назвать человеком холодной крови. Для Джемса любовь к детям стала теперь основным стимулом жизни. Сознание, что дети – часть его самого, что им он может передать свои сбережения, – вот что лежало в основе его тяги к наживе; а в семьдесят пять лет какое еще удовольствие мог он получить от жизни, кроме наживы? И основной смысл существования заключался для Джемса в сбережении денег для детей.

Во всем Лондоне, где у Джемса было столько владений, в Лондоне, который он любил молчаливой любовью, как вместилище своих удач, не было человека, несмотря на всю его мнительность, более здравомыслящего, чем Джемс Форсайт (если основным признаком здравого ума считать инстинкт самосохранения, хотя Тимоти бесспорно в этом отношении хватил через край). Джемс был наделен поразительным инстинктивным здравомыслием, присущим всему его классу. В нем больше, чем в Джолионе с его твердой волей и минутными порывами нежности и философских раздумий, больше, чем в Суизине, оказавшемся в плену у собственных причуд, Николасе, жертве своих способностей, и Роджере, мученике предприимчивости, бесперебойно пульсировал инстинкт приспособления; из всех братьев он был наименее примечателен как по уму, так и по индивидуальности и именно поэтому имел все шансы на бессмертие.

Джемс больше остальных братьев ценил и любил семью. В его отношении к жизни всегда было что-то примитивное и «домашнее»; он любил семейный очаг, любил посудачить, любил поворчать. Для того чтобы прийти к какому-нибудь решению, он снимал пенки мудрости со своей семьи, а через ее посредство и с множества других семей подобного же склада. Год за годом, неделю за неделей ходил он к Тимоти и сидел в гостиной брата, скрестив свои длинные ноги, худой, высокий, с седыми бакенбардами, обрамлявшими его чисто выбритый подбородок, следил, как набегает пенка в закипающем семейном горшке, и уходил оттуда приголубленный, освеженный, утешенный, с неизъяснимым чувством душевного покоя. Под несокрушимым инстинктом самосохранения в Джемсе таилась неподдельная мягкость; визит к Тимоти действовал на него, как час, проведенный у материнских колен. Острая потребность чувствовать над собой защиту семейного крылышка влияла, в свою очередь, и на его отношение к детям; он не мог без ужаса думать о том, что состояние, репутация, здоровье его детей будут в какой-либо мере зависеть от постороннего мира. Узнав, что сын его старого друга Джона Стрита вступил добровольцем в экспедиционный корпус, он сердито покачал головой, удивляясь, как это Джон Стрит допустил такую вещь; а когда молодой человек был убит туземцами, Джемс так близко

принял это к сердцу, что обошел всех знакомых только для того, чтобы объявить всюду: «Так я и знал, ну что с такими людьми поделаешь!»

Когда его зять, Дарти, потерпел финансовый крах в результате спекуляции акциями нефтяной компании, Джемс заболел от расстройства; в этой катастрофе ему почудился похоронный звон, провожающий в могилу всяческое благосостояние. Для того чтобы оправиться от такого удара, понадобились три месяца и поездка в Баден-Баден; он приходил в ужас при одной мысли, что, если бы не его, Джемса, деньги, имя Дарти попало бы в список банкротов.

Организм Джемса был настолько крепок, что при малейшей боли в ухе он уже готовился к смерти, а болезни жены и детей воспринимал как личное несчастье, специально ниспосланное провидением, чтобы нарушить его душевный покой. Но в недомогания других людей, не входивших в круг его семьи, он просто не верил, утверждая, что все это происходит оттого, что люди не заботятся о своей печени.

Во всех таких случаях слова его были неизменны: «На что они рассчитывают? И у меня бывает то же самое, если я не слежу за собой!»

Идя в тот вечер к Сомсу, он чувствовал, что жизнь обращается с ним жестоко; у Эмили разыгралась подагра, Рэчел вздумала укатить в гости за город; никто ему не сочувствует; Энн больна – вряд ли протянет лето; он три раза заезжал к ней, и все три раза она не могла его принять. А тут еще Сомс с постройкой дома, этим надо заняться как следует! Что же касается неприятностей с Ирэн, он просто не знает, чем это кончится, – всего можно ожидать!

Джемс вошел в дом № 62 на Монпелье-сквер с твердым намерением показать, какой он несчастный человек.

Было уже половина восьмого, и Ирэн, одетая к обеду, сидела в гостиной. На ней было золотистое платье, в котором она уже показывалась на званом обеде, на вечере и на балу, – теперь его можно было носить только дома; на груди платье было отделано волной кружев, на которые Джемс уставился сразу, как только вошел.

– Где вы все это покупаете? – сердито спросил он. – Рэчел и Сесили никогда не бывают так хорошо одеты. Это настоящее кружево? Да нет, не может быть!

Ирэн подошла ближе, чтобы доказать Джемсу, что он ошибается.

И, независимо от своей воли, Джемс размяк от такой предупредительности со стороны Ирэн, от тонкого соблазнительного запаха ее духов. Но ни один уважающий себя Форсайт не сдастся с первого удара; и он сказал:

– Не знаю, не знаю, вы, должно быть, тратите уйму денег на наряды.

Зазвенел гонг, и, подав Джемсу свою ослепительно белую руку, Ирэн повела его в столовую. Она посадила его на место Сомса, слева от себя. Свет здесь падал мягче, сгущавшиеся сумерки не будут его беспокоить; и она принялась говорить с Джемсом о его делах.

В Джемсе сразу же произошла перемена, как будто солнце согрело плод, медленно зреющий на ветке; он чувствовал, что его нежат, хвалят, ласкают, а между тем в ее словах не было ни прямой ласки, ни похвалы. Ему казалось, что именно такой обед и нужен для его желудка; дома этого ощущения не бывало; он уже не мог припомнить, когда бокал шампанского доставлял ему такое удовольствие, как сейчас, потом, осведомившись о марке и цене, удивился, что это то же самое вино, которое он держит у себя, но не может пить, и сразу решил заявить своему поставщику, что тот его надует.

Подняв глаза от тарелки, он сказал:

– У вас так много красивых вещей. Сколько, например, вы заплатили за эту сахарницу? Должно быть, немалые деньги?

Особенное удовольствие доставила ему висевшая напротив картина, которую он сам подарил им.

– Я и не подозревал, что она так хороша! – сказал он.

Встав из-за стола, они направились в гостиную, и Джемс шел за Ирэн по пятам.

– Вот это называется хорошо пообедать, – довольным голосом пробормотал он, дыша ей в плечо, – ничего тяжелого и без всяких французских штучек. Дома я не могу добиться таких обедов. Плачу поварихе шестьдесят фунтов в год, но разве

она когда-нибудь кормит меня так!

До сих пор о постройке дома не было сказано ни слова; Джемс не заговорил об этом и тогда, когда Сомс, сославшись на дела, ушел наверх, в комнату, где он держал свои картины.

Джемс остался наедине с невесткой. Тепло, разлившееся по всему телу от вина и превосходного ликера, все еще не покидало его. Он чувствовал нежность к Ирэн. В самом деле, в ней столько обаяния; она слушает вас и как будто понимает все, что вы говорите, и, продолжая разговор, Джемс не переставал внимательно разглядывать ее всю, начиная с туфель цвета бронзы и кончая волнистым золотом волос. Она откинулась в кресле, ее плечи приходились вровень со спинкой – тело, прямое, гибкое, послушное, словно отдавалось объятиям любовника. Губы ее улыбались, глаза были полузакрыты. Возможно, что Джемсу почудилась опасность в самом очаровании ее позы, возможно, что виной тут был пищеварительный процесс, но он вдруг умолк. Если память ему не изменяет, он еще никогда не оставался наедине с Ирэн. И, глядя на нее, Джемс испытывал странное чувство, словно ему пришлось столкнуться с чем-то необычным и чуждым.

О чем она думает, откинувшись вот так в кресле?

И когда Джемс заговорил, слова его прозвучали резко, словно кто-то прервал его приятные сновидения.

– Что вы тут делаете одна по целым дням? – сказал он. – Почему бы вам не заглянуть когда-нибудь на Парк-лейн?

Ирэн придумала какую-то отговорку. Джемс выслушал ответ, не глядя на нее. Ему не хотелось верить, что она на самом деле избегает его семьи, – это было бы уж слишком.

– Наверное, вам просто некогда, – сказал он, – ведь вы вечно с Джун. Ей это очень кстати. Вы, должно быть, всюду сопровождаете ее с женихом. Говорят, она совсем не бывает дома; дяде Джолиону, наверное, это не по душе, приходится сидеть одному. Говорят, она по пятам ходит за этим Босини. Он каждый день бывает у вас? Ну а как вы к нему относитесь? Как по-вашему, он положительный человек? На мой взгляд – ничтожество. Она будет держать его

под каблучком!

Щеки Ирэн залились краской. Джемс подозрительно посмотрел на нее.

– Боюсь, что вы не совсем разобрались в мистере Босини, – сказала она.

– Не разобрался! – выпалил Джемс. – Это почему же? Сразу видно, что он, как это называется... «художественная натура». Говорят, талантливый, но они все себя считают талантами. Впрочем, вам лучше знать, – добавил он и снова кинул на нее подозрительный взгляд.

– Он работает над проектом дома для Сомса, – мягко сказала Ирэн, явно стараясь успокоить его.

– Вот как раз об этом я и хотел поговорить, – подхватил Джемс. – Не понимаю, зачем Сомсу понадобилось связываться с этим юнцом; почему он не обратился к первоклассному архитектору?

– А может быть, мистер Босини тоже первоклассный архитектор?

Джемс встал и прошелся по комнате, низко опустив голову.

– Ну конечно, – сказал он, – вы, молодежь, горой стоите друг за друга; думаете, что умнее вас никого нет!

Длинная тощая фигура Джемса остановилась перед ней, он угрожающе поднял палец, словно произнося приговор красоте Ирэн.

– Я могу сказать только одно, все эти «таланты», или как они там себя называют, самые ненадежные люди; послушайте моего совета: держитесь от него подальше!

Ирэн улыбнулась, и в изгибе ее рта был какой-то вызов. Вся ее предупредительность к Джемсу исчезла. Казалось, что затаенный гнев волнует ее грудь; она подняла руки, сомкнула кончики пальцев; непроницаемый взгляд ее темных глаз остановился на Джемсе.

Он сумрачно уставился себе под ноги.

– Я вам прямо скажу, – проговорил он, – очень жаль, что у вас нет ребенка, вам нечего делать, не о ком заботиться!

Лицо Ирэн сразу омрачилось, и даже Джемс почувствовал, какое напряжение сковало ее тело под мягким покровом шелка и кружев.

Эффект, произведенный этими словами, испугал его самого, и, как большинство людей не храброго десятка, он сразу же, для большей убедительности, перешел в наступление.

– Вы вечно сидите дома. Почему бы, например, вам не проехаться с нами в Харлингэм? Или не сходить в театр? В ваши годы надо всем интересоваться. Вы же молодая женщина!

Лицо Ирэн еще более омрачилось; Джемсу стало совсем не по себе.

– Впрочем, кто вас знает, – сказал он, – мне никогда ничего не рассказывают. Сомс должен сам о себе позаботиться. А если не может, пусть на меня не рассчитывает – вот и все.

Прикусив кончик указательного пальца, он бросил на невестку холодный испытующий взгляд.

Ее глаза, темные и глубокие, так твердо смотрели на него, что он запнулся и почувствовал легкую испарину.

– Ну, мне надо идти, – сказал он после короткой паузы и секундой позже поднялся с удивленным видом, словно ждал, что его будут удерживать. Он протянул Ирэн руку и позволил проводить себя до дверей и выпустить на улицу. Нет, не нужно звать кеб, он прогуляется пешком, пусть Ирэн передаст привет Сомсу, а если ей захочется немного развлечься, что ж, он в любой день поедет с ней в Ричмонд.

Джемс пришел домой и, поднявшись к себе, разбудил Эмили, впервые за сутки забывшуюся сном, чтобы сказать ей, что семейные дела Сомса, кажется, идут

неважно; обсуждение этой темы заняло у Джемса полчаса, а затем, заявив, что не сможет сомкнуть глаз всю ночь, он повернулся на другой бок и сейчас же захрапел.

В доме на Монпелье-сквер Сомс, выйдя из верхней комнаты, стоял незамеченный на лестнице и смотрел, как Ирэн разбирает письма, полученные с последней почтой. Она вернулась в гостиную, но сейчас же вышла оттуда и остановилась в дверях, словно прислушиваясь к чему-то. Затем стала тихо подниматься по лестнице, держа на руках котенка. Он видел ее лицо, склонившееся над котенком, который с мурлыканьем терся о ее шею. Почему она никогда не смотрит так на него?

Вдруг она заметила Сомса, и выражение ее лица сейчас же изменилось.

– Есть для меня письма? – спросил он.

– Три.

Сомс посторонился, а Ирэн прошла в спальню, не сказав больше ни слова.

VII

Прегрешение старого Джолиона

В тот же самый день старый Джолион ушел с крикет-граунда с твердым намерением отправиться домой. Но, не дойдя и до Гамильтон-Террес, раздумал и, подозвав кеб, велел отвезти себя на Вистариа-авеню. В голове у него созрело решение.

Последнюю неделю Джун почти не бывала дома; она уже давно не баловала его своим обществом, точнее говоря, с того самого дня, как состоялась ее помолвка с Босини. Старый Джолион не просил Джун побыть с ним. Не в его привычках просить людей о чем-нибудь! Голова ее была занята только Босини и его делами. Старый Джолион остался один с оравой слуг в громадном доме – и ни души рядом, с кем можно бы перекинуться словом за весь долгий день. Клуб его был

временно закрыт; правления компаний, где он состоял директором, не заседали на каникулах, поэтому в Сити делать было нечего. Джун настаивала, чтобы он уехал из города; сама же ехать не хотела, потому что Босини оставался в Лондоне.

Но куда он денется без нее? Не ехать же одному за границу; море он не переносит из-за печени; об отелях противно и думать. Роджер ездит на воды, но он не намерен на старости лет заниматься такими глупостями: все эти новомодные курорты – чистейшая ерунда!

Таковыми изречениями старый Джолион прикрывал свое угнетенное состояние духа, прячась от самого себя; морщины около его рта залегли глубже, в глазах с каждым днем все больше и больше сквозила печаль, так несвойственная лицу, в котором прежде было столько воли и спокойствия.

Итак, в этот день он отправился в Сент-Джонс-Вуд, где золотые брызги света дрожали на зеленых шапках акации перед скромными домиками, где летнее солнце, словно в буйном веселье, заливало маленькие сады; старый Джолион с интересом смотрел по сторонам – он находился в той части города, куда Форсайты заходят, не скрывая своего неодобрения, но с тайным любопытством.

Кеб остановился перед маленьким домиком, судя по его неопределенно-бурому цвету, давно не знавшим ремонта. Вход с улицы был через калитку, как у деревенских коттеджей.

Старый Джолион вышел из кеба с чрезвычайно спокойным видом; его массивная голова с длинными усами, с прядью седых волос, видневшейся из-под полей очень высокого цилиндра, была гордо поднята; взгляд твердый, немного сердитый. Вот до чего его довели!

– Миссис Джолион Форсайт дома?

– Дома, сэр. Как прикажете доложить, сэр?

Старый Джолион не вытерпел и подмигнул маленькой служанке, говоря ей свое имя. «Ну и лягушонок!» – пронеслось у него в голове.

Он прошел за ней через темную переднюю в небольшую гостиную, где стояла мебель в ситцевых чехлах; служанка предложила ему кресло.

– Они в саду, сэр; присядьте, пожалуйста, я сейчас доложу.

Старый Джолион сел в кресло, покрытое ситцевым чехлом, и оглядел комнату. Все здесь казалось жалким, как он выразился про себя; на всем лежал особый отпечаток – он затруднялся определить, какой именно, – какой-то оттенок убожества, вернее, старания свести концы с концами. Насколько можно было судить, ни одна вещь в гостиной не стоила и пяти фунтов. На стенах, давным-давно выцветших, висели акварельные эскизы; поперек потолка шла длинная трещина.

Все эти домишки – старая рухлядь; надо надеяться, что платят за такую конуру меньше сотни в год; старому Джолиону трудно было бы выразить словами ту боль, которую он испытывал при одной мысли, что Форсайт – его родной сын – живет в таком доме.

Служанка вернулась. Не угодно ли ему пройти в сад?

Старый Джолион вышел через стеклянную дверь. Спускаясь с крылечка, он подумал, что его давно следовало бы покрасить.

Молодой Джолион, его жена, двое детей и пес Балтазар сидели в саду под грушевым деревом.

Старый Джолион направился к ним, и это был самый мужественный поступок в его жизни; но ни один мускул не дрогнул на его лице, ни одно движение не выдало его. Он шел, устремив твердый взгляд прямо на врага.

В эти две минуты старый Джолион с предельной безупречностью продемонстрировал бессознательную здравость ума, выдержку и жизнеспособность – все то, что делало его и многих других людей одного с ним класса ядром нации. В манере вести свои дела без лишнего шума и с полным пренебрежением ко всему остальному миру эти люди воплощают самую сущность британского индивидуализма – результата естественной обособленности всей страны.

Пес Балтазар обнюхал его брюки; благосклонно настроенный и несколько циничный пес – незаконное детище пуделя и фокстерьера – чуял необычное безошибочно.

После натянутых приветствий старый Джолион сел в плетеное кресло, внучата его стали по бокам и молча уставились на деда, первый раз в жизни видя перед собой такого старого человека.

Дети были совсем не похожи друг на друга, как будто и здесь сказалась разница обстоятельств, сопутствовавших их рождению. Джолли – плод греха, толстощекий, с форсайтскими глазами, с зачесанной кверху светлой, как лен, шевелюрой, с ямочкой на подбородке – смотрел приветливо и твердо; маленькая Холли – плод брачного союза – была смуглая серьезная особа с глазами матери – серыми и задумчивыми.

Пес Балтазар обошел три маленькие клумбы, всем своим видом показывая полнейшее презрение к окружающему миру, затем уселся напротив старого Джолиона и, поваливая хвостиком, которому самой природой указано было лежать крендельком на спине, смотрел, не мигая, прямо перед собой.

Общее впечатление убожества преследовало старого Джолиона даже здесь, в саду; плетеное кресло поскрипывало под его тяжестью; клумбы жалкие; у потемневшей каменной ограды – тропинка, протоптанная кошками.

Пока дед и внуки внимательно разглядывали друг друга с тем любопытством и доверием, которые всегда возникают между очень юными и очень старыми людьми, молодой Джолион наблюдал за женой.

Ее худое продолговатое лицо с большими серыми глазами, смотревшими из-под прямых бровей, вспыхнуло. Волосы, высоко зачесанные со лба, уже начинали седеть, как и у него, и эта седина с щемящей сердце трогательностью только подчеркивала румянец, внезапно загоревшийся у нее на щеках.

Это лицо – такое, каким он никогда не знал его раньше, какое она всегда прятала от него, – было полно долго таимой враждебности, тоски и страха. В глазах под тревожно подергивающимися бровями была боль. Она молчала.

Разговор поддерживал один Джолли; у него было много сокровищ, и этот новый друг с длинными усами и голубыми жилками на руках, сидевший, положив ногу на ногу, как папа (Джолли давно уже старался научиться сидеть так), должен был узнать об этих сокровищах; но будучи истым Форсайтом, хотя всего-навсего восьми лет от роду, он не обмолвился ни словом о самом дорогом его сердцу – об оловянных солдатиках в витрине игрушечного магазина, которые отец обещал подарить ему. Эта вещь казалась Джолли бесценной; лучше даже не заикаться о ней, чтобы не искушать судьбу.

Солнце, пробравшись сквозь листву, играло на этой маленькой группе, на представителях трех поколений, спокойно сидевших под грушевым деревом, которое уже давно не приносило плодов.

Морщинистое лицо старого Джолиона покраснело пятнами, как краснеют на солнце лица стариков. Он взял Джолли за руку; мальчик вскарабкался ему на колени; и маленькая Холли, зачарованная этим зрелищем, подобралась к ним поближе; пес Балтазар принялся ритмически почесывать себе спину.

Вдруг миссис Джолион встала и быстро пошла к дому; минутой позже муж пробормотал какое-то извинение и ушел за ней. Старый Джолион остался один с внуками.

И природа со свойственной ей тонкой иронией принялась за старого Джолиона, испытывая на его сердце свой закон циклического чередования. Та нежность к детям, та страстная любовь к росткам жизни, которая заставила его однажды бросить сына и пойти за Джун, теперь заставляла его бросить Джун и пойти за этими совсем крохотными существами. Молодость незатухающим пламенем горела в сердце старого Джолиона, и к молодости он потянулся, к пухлым ручонкам, таким шаловливым и требующим такой заботы о себе, к пухлым личикам – то важным, то веселым, к звонким голосам, громкому, захлебывающемуся смеху, к настойчивым цепким пальцам, к этим крошкам, копошившимся у его ног, – ко всему, что было молодо, молодо и еще раз молодо. В его глазах появилась нежность, нежными стали голос и худые, со вздутыми венами руки, нежность затеплилась у него в сердце. И крохотные создания сразу же нашли здесь убежище для своих забав, убежище, где их никто не тронет, где можно и поболтать, и посмеяться, и поиграть; и вскоре плетеное кресло и те, кто сидел в нем, стали, как солнце, излучать радость, царившую во всех трех сердцах.

Но молодой Джолион, последовавший за женой в комнаты, чувствовал себя по-иному.

Он нашел жену в кресле перед зеркалом; она сидела, закрыв лицо руками.

Плечи ее вздрагивали от рыданий. Эта способность так легко поддаваться горю всегда была непонятна молодому Джолиону. Сотни раз приходилось ему быть свидетелем таких вспышек отчаяния; он и сам не знал, как удавалось переносить их, ибо ему не верилось, что это всего лишь вспышки, что последний час их совместной жизни еще не пробил.

А ночью она обхватит его шею руками и скажет: «Зачем я тебя мучаю, Джо!» – как бывало уже сотни раз.

Он протянул руку и незаметно спрятал в карман футляр с бритвой.

«Я не могу здесь оставаться, – думал молодой Джолион, – надо идти туда!» Не говоря ни слова, он вышел из комнаты в сад.

Старый Джолион усадил Холли на колени; она завладела его часами; Джолли, весь побагровевший, пытался показать, что умеет стоять на голове. Пес Балтазар сидел вплотную у стола, не сводя глаз с печенья.

Молодой Джолион почувствовал недоброе желание нарушить эту идиллию.

Зачем отец явился сюда и так взволновал его жену?

После всех этих лет – такое потрясение! Он должен был сам догадаться; должен был предупредить их; но разве Форсайту придет когда-нибудь в голову, что его поведение может причинить неприятность другим! Молодой Джолион был несправедлив к отцу.

Он резко заговорил с детьми, послав их пить чай в комнаты. Удивленные его резкостью – отец никогда еще не разговаривал с ними таким тоном, – они пошли, взявшись за руки, и, уходя, Холли несколько раз оглянулась через плечо.

Молодой Джолион налил себе и отцу чаю.

– Жена немного нездорова сегодня, – сказал он, отлично зная, что отцу понятна причина ее внезапного ухода, и почти ненавидя старика за то, что тот сидит с таким невозмутимым видом.

– У тебя славный домик, – сказал старый Джолион, пристально глядя на сына. – Ты снимаешь его?

Молодой Джолион кивнул.

– Хотя сам район мне не нравится, – сказал старый Джолион, – очень убогий.

Молодой Джолион ответил:

– Да, у нас убого.

Теперь молчание прерывал только пес Балтазар, почесывавший себе спину.

Старый Джолион сказал просто:

– Я, должно быть, напрасно пришел, Джо, но мне так тоскливо одному!

В ответ на эти слова молодой Джолион встал и положил руку отцу на плечо.

В соседнем доме кто-то бесконечно наигрывал на расстроенном рояле «La donna e mobile»; на садик спустилась тень, солнце доходило теперь только до задней стены, на которой, греясь в последних лучах, пристроилась кошка; ее желтые глаза сонно поглядывали вниз на Балтазара. Издалека доносился глухой шум уличного движения; увитые плющом стены садика скрывали все, кроме неба, дома и грушевого дерева, верхушку которого все еще золотило солнце.

Некоторое время они сидели, изредка перекидываясь словами. Потом старый Джолион собрался уходить, и о его дальнейших посещениях ничего сказано не было.

Он вышел от сына с горечью на сердце. Какой жалкий домишко! И он вспомнил о большом пустынном доме на Стэнхоуп-Гейт, достойной резиденции для

Форсайта, с громадной бильярдной и гостиной, куда по целым неделям никто не заходил.

Эта женщина, лицо которой ему даже понравилось, какая она чувствительная! Джолиону, должно быть, очень трудно с ней ладить. А дети, что за прелесть! Как это все тяжело и нелепо!

Он пошел по направлению к Эджуэр-роуд между двумя рядами маленьких домиков, вызывавших у него мысли (ничем, конечно, не оправданные, но предрассудки Форсайтов священны) о всевозможных непозволительных историях.

Так называемое общество – болтливые мегеры и всякий сброд – произнесло приговор его плоти и крови! Старые бабы! Он стукнул по тротуару зонтиком, точно хотел вогнать его в самое сердце жалкого общества, осмелившегося отвергнуть его сына и сына его сына, в котором он мог бы снова жить на старости лет.

Старый Джолион гневно стукнул зонтиком: но ведь он сам вот уже пятнадцать лет следовал законам этого общества и только сегодня изменил им!

Он вспомнил Джун, ее покойную мать и всю катастрофу, и прежняя горечь поднялась в нем. Тяжелая история!

Путь до Стэнхоуп-Гейт был долгий, потому что, словно назло самому себе, старый Джолион, чувствуя сильную усталость, шел всю дорогу пешком.

Вымыв внизу руки, старый Джолион пошел в ожидании обеда в столовую – единственную комнату, где он проводил время, когда Джун не бывало дома: здесь не так тоскливо одному. Вечерняя газета еще не пришла; «Таймс» он уже просмотрел, значит, делать было решительно нечего.

Окна столовой выходили на спокойную улицу, и в комнате было очень тихо. Старый Джолион не любил собак, но сейчас он обрадовался бы и такому обществу. Его взгляд, блуждавший по стенам, остановился на картине «Голландские рыбацьи лодки на закате» – гордость всей его коллекции. Сейчас она не доставила ему никакого удовольствия. Он закрыл глаза. Тоскливо одному! Жаловаться бесполезно, он прекрасно знает это, но трудно сдержать

себя. Жалкий старик, всегда был жалким – хватки не было в жизни! Такие мысли бродили в голове старого Джолиона.

Лакей пришел накрыть на стол и, решив, что хозяин спит, старался двигаться с величайшей осторожностью. Этот бородач носил также и усы, что вызывало большие сомнения у многих членов семьи, особенно у тех, кто, подобно Сомсу, кончил закрытую школу и с сугубой щепетильностью разбирался в таких вопросах. В самом деле, разве он похож на лакея? Игриво настроенные умы называли его «дядин сектант». Джордж, известный остряк, прозвал его «миссионером».

Лакей с неподражаемой мягкостью бесшумно двигался между большим полированным буфетом и большим полированным столом.

Старый Джолион наблюдал за ним, притворившись спящим. Низкая душонка – он всегда считал его таким – только и думает, как бы отделаться поскорее и удрать на скачки, или к своей даме, или черт его знает куда! Тунеядец! А как разжирел! И ни малейшего чувства привязанности к своему хозяину!

Но тут против его собственной воли старым Джолионом вдруг завладела обычная склонность пофилософствовать, которая так сильно выделяла его из среды остальных Форсайтов.

В конце концов, разве лакей обязан чувствовать привязанность к хозяину? Ведь за это не платят, значит, нечего с него и требовать. В этом мире нельзя надеяться на бескорыстные чувства. В другом, может быть, все пойдет по-иному, кто знает, кто может угадать? И он снова закрыл глаза.

Упорно продолжая заниматься своим делом, лакей бесшумно доставал посуду из разных отделений буфета. Он ни разу не повернулся к старому Джолиону лицом, вероятно, стараясь скрыть неприглядность своих манипуляций, заключавшуюся в том, что они совершались в присутствии хозяина; время от времени он дышал украдкой на серебро и протирал его кусочком замши. Можно было подумать, что лакей размышляет, достаточно ли вина в графинах, которые он осторожно нес к столу, высоко держа их в руках и покровительственно прикрывая сверху бородой. Кончив приготовления, он с минуту глядел на хозяина, и в его зеленоватых глазах было презрение.

В конце концов, хозяин у него старая развалина, совсем сдал старик!

Тихо, как кошка, он прошел через комнату к звонку. Было приказано: «обед в семь». Хозяин спит. Ну что ж, он его живо разбудит; успеет выспаться за ночь! Надо и о себе подумать: в половине девятого его ждут в клубе.

В ответ на звонок в столовую вошел мальчик с серебряной суповой миской. Лакей принял от него миску и поставил на стол, потом остановился в дверях и, словно обращаясь к большому обществу, провозгласил торжественным голосом:

– Кушать подано, сэр!

Старый Джолион медленно поднялся с кресла и перешел к столу обедать.

VIII

Проект дома готов

Все Форсайты, как это общеизвестно, живут в раковинах, подобно тому чрезвычайно полезному моллюску, который идет в пищу как величайший деликатес; другими словами, в натуральном виде Форсайты никогда не встречаются, а если и встречаются, то никто их не узнает без этой оболочки, сотканной из различных обстоятельств их жизни, их имущества, знакомств и жен, без всего того, что на каждом шагу сопутствует им в этом мире, кишасщем тысячами других Форсайтов, запятанных в такие же оболочки. Представить себе Форсайта без раковины немыслимо, в таком случае он уподобился бы роману без интриги, что, как известно, явление противоестественное.

На взгляд Форсайтов, Босини жил без такой оболочки; по-видимому, он принадлежал к тому редкостному и незадачливому типу мужчин, которые шествуют по своему пути в окружении обстоятельств чужой жизни, чужого имущества, чужих знакомых и чужих жен.

Его квартира в верхнем этаже дома на Слоун-стрит, с дощечкой на дверях, на которой было написано «Архитектор Филип Бейнз Босини», не имела ничего

общего с жилищами Форсайтов. Гостиной у Босини не было, а такие необходимые в обиходе вещи, как диван, кресло, трубки, винный погребец, книги и домашние туфли, хранились в большой нише, отгороженной от рабочей комнаты ширмой. Мебель в деловой половине его квартиры была самая обычная: бюро с множеством ящичков, круглый дубовый стол, складной умывальник, несколько стульев и еще один стол очень больших размеров, заваленный рисунками и чертежами. Джун два раза пила здесь чай под охраной тетки Босини.

Предполагалось, что позади рабочей комнаты имеется спальня.

Насколько семье Форсайтов удалось выяснить, доходы Босини сводились к сорока фунтам в год за консультации в двух строительных конторах, случайным приработкам и – что заслуживало большего внимания – ежегодной ренте в сто пятьдесят фунтов, предусмотренной в завещании его отца.

В сведениях, которые удалось получить об отце, утешительного было мало. Деревенский врач, родом из Корнуэлса, практиковал в Линкольншире, байронические замашки, эксцентричная внешность – весьма видная фигура в своих местах. Бейнз – контора «Бейнз и Байлдбой» – дядя Босини с материнской стороны, Форсайт по духу, хоть и не по имени, мало что мог рассказать о своем шурине такого, что бы заслуживало внимания.

– Чудак-человек! – говорил Бейнз. – О своих трех старших сыновьях отзывался так: «Хорошие ребята, только нудные». Они сейчас в Индии и прекрасно устроены! Филип был его любимцем. Станные вещи приходилось от него выслушивать; как-то раз заявил мне: «Друг мой, никогда не делитесь с женой своими мыслями!» Но я его совета не послушался; слуга покорный! Чудак был! Постоянно вразумлял Фила: «Жизнь можно прожить как угодно, дружок, но умереть ты обязан как джентльмен!» – и сам лежал в гробу в парадном сюртуке и шелковом галстуке с бриллиантовой булавкой. Большой был оригинал!

О самом Босини Бейнз отзывался тепло, но с некоторым состраданием:

– Байронизм он унаследовал от отца. Да вот посудите сами: отказался от работы у меня в конторе, где столько возможностей; бродил полгода с мешком за плечами, а зачем? Изучал иностранную архитектуру; иностранную, видите ли! На что он рассчитывал? И вот вам: талантливый молодой человек, а не может

заработать и сотни в год! Лучше этой помолвки для него ничего не придумаешь, это его подтянет: ведь он принадлежит к тому сорту людей, которые спят днем, а работают ночью, и только потому, что не приучены к порядку; но ничего дурного в нем нет – решительно ничего дурного. Старик Форсайт очень богатый человек!

Мистер Бейнз был чрезвычайно любезен с Джун, которая в те дни часто бывала у него на Лаундс-сквер.

– Постройка мистера Сомса – какой у него блестящий деловой ум! – так вот, эта постройка – именно то, что Филу нужно, – говорил он Джун. – Теперь уж вам не придется так часто видаться с ним, милая барышня. Уважительные причины, весьма уважительные. Молодому человеку надо пробивать себе дорогу в жизни. В его годы я работал не покладая рук. Бывало, жена говорит мне: «Бобби, ты совсем заработался, подумай о своем здоровье», – но я себя не жалел!

Джун жаловалась, что жених не может урвать время, чтобы заглянуть на Стэнхоуп-Гейт.

Когда Босини впервые после долгого перерыва пришел к Джун, они не побыли вдвоем и четверти часа, как приехала миссис Септимус Смолл – великая мастерица на такие случайные совпадения. Босини сейчас же встал и, согласно предварительному уговору, перешел в маленький кабинет, чтобы там переждать миссис Смолл.

– Ах, милочка, – начала тетя Джули, – он так похудел! Мне часто приходилось замечать это за женихами; ты последи за ним. Есть такой мясной экстракт Барлоу; дяде Суизину он прекрасно помог.

Джун, с сердито подергивающимся личиком, вытянулась во весь свой крохотный рост перед камином – она рассматривала несвоевременный приезд тетки как личное оскорбление – и ответила презрительно:

– Это потому, что он много работает; люди, которые способны на что-нибудь дельное, никогда не бывают толстыми!

Тетя Джули надула губы; сама она всегда отличалась худобой, и единственным удовольствием, которое ей удавалось извлекать из этого обстоятельства, была

возможность страстно мечтать о полноте.

– По-моему, – грустно сказала она, – ты не должна позволять, чтобы его звали «пиратом», это может показаться странным, ведь он будет строить дом для Сомса. Я надеюсь, что он отнесется к своей работе со вниманием; это так важно для него, ведь у Сомса прекрасный вкус!

– Вкус! – воскликнула Джун, вспыхнув. – Нет у него никакого вкуса – ни у него, ни у кого другого в нашей семье!

Миссис Смолл остолбенела.

– У дяди Суизина, – сказала она, – всегда был прекрасный вкус! И у самого Сомса очаровательный домик; ты же не станешь отрицать это!

– Гм! – вырвалось у Джун. – Только потому, что там Ирэн!

Тетя Джули попыталась сказать что-нибудь приятное:

– А Ирэн довольна, что они переезжают за город?

Джун смотрела так пристально, как будто из глаз ее вдруг глянула совесть; потом это прошло, и взгляд Джун стал еще более пристальным, словно ей удалось смутить свою совесть. Она ответила высокомерно:

– Конечно, довольна, а почему бы нет?

Миссис Смолл беспокоилась.

– Не знаю, – сказала она, – может быть, Ирэн не захочется покидать своих друзей. Дядя Джеймс говорит, что у нее мало интереса к жизни. Мы считаем, то есть Тимоти считает, что ей надо побольше выезжать. Ты, наверное, будешь скучать без нее!

Джун завела руки за голову.

– Мне бы очень хотелось, – крикнула она, – чтобы дядя Тимоти поменьше говорил о том, что его совершенно не касается!

Тетя Джули вытянулась во весь рост.

– Он никогда не говорит о том, что его не касается, – ответила она.

Джун сразу же почувствовала угрызения совести, подбежала к тетке и расцеловала ее.

– Простите меня, тетечка; только оставьте вы Ирэн в покое.

Тетя Джули не смогла больше придумать ничего такого, что можно было бы сказать на эту тему, и умолкла; собравшись уходить, она застегнула на груди черную шелковую пелеринку и взяла свой зеленый ридикюль.

– А как себя чувствует дедушка? – спросила она уже в холле. – Ему, должно быть, тоскливо одному, ты ведь теперь все время с мистером Босини. – Она нагнулась к внучке, с жадностью поцеловала ее и удалилась мелкими, семенящими шажками.

На глазах у Джун выступили слезы: она убежала в маленький кабинет, где Босини сидел у стола, рисуя на конверте каких-то птиц, и бросилась в кресло со словами:

– Ох, Фил, как это тяжело!

Сердце ее горело тем же огнем, что и копна золотисто-рыжих волос.

В следующее воскресенье утром, когда Сомс брился, ему доложили, что мистер Босини дожидается внизу и хочет его видеть. Приотворив дверь в комнату жены, он сказал:

– Там пришел Босини. Займи его, пока я бреюсь. Я сейчас приду. Он, должно быть, хочет поговорить о проекте.

Ирэн молча взглянула на него, закончила свой туалет и сошла вниз.

Сомс все еще не знал, как она относится к постройке дома. Возражений с ее стороны он не слышал, а что касается Босини, то к нему она, кажется, относилась дружелюбно.

Из окна Сомсу было видно, что Ирэн и Босини разговаривают внизу, в маленьком дворике.

Он заторопился и в двух местах порезал подбородок. Потом, услышав их смех, подумал: «Ну, им, кажется, не скучно вдвоем!»

Как он и предполагал, Босини зашел за ним, чтобы показать планы.

Сомс взял шляпу, и они вышли на улицу.

Планы были разложены в комнате архитектора на дубовом столе, и Сомс, бледный, внимательный, внешне совершенно невозмутимый, нагнувшись над ними, долгое время не говорил ни слова.

Наконец он сказал недоуменно:

– Станный дом!

Двухэтажное здание, обведенное по второму этажу галереей, охватывало двор с четырех сторон. Двор этот был покрыт стеклянной крышей на восьми колоннах.

Действительно, на взгляд Форсайта, дом был странный.

– Много места пропадает зря, – продолжал Сомс.

Босини заходил по комнате, и выражение его лица не понравилось Сомсу.

– Проект делался с тем расчетом, – сказал архитектор, – чтобы хозяину было где повернуться в собственном доме, как и подобает джентльмену.

Сомс растопырил большой и указательный пальцы, словно измеряя степень уважения, которое он заслужит, выстроив такой дом, и ответил:

– Да, да! Я понимаю.

То своеобразное выражение, которым отличалось лицо Босини, когда он загорался чем-нибудь, появилось и сейчас.

– Я хотел выстроить вам дом, который обладал бы... ну... чувством собственного достоинства, что ли! Если вам не нравится, скажите прямо. Обычно мало кто думает об этом – кого интересует чувство собственного достоинства в доме, если можно втиснуть в план лишнюю уборную? – Он ткнул пальцем в левую часть чертежа. – Здесь есть где размахнуться. Вот тут помещение для ваших картин, отделяется от двора портьерами; отдерните их, и у вас будет пространство пятьдесят один на двадцать три и шесть десятых. Вот здесь, в середине, печь – выходит одной стороной во двор, другой – в картинную галерею; эта стена сплошь из стекла, выходит на юго-восток, со двора будет литься северный свет. Часть картин можно развесить в верхней галерее или в других комнатах. В архитектуре, – продолжал он, глядя на собеседника, но словно не видя его, что коробило Сомса, – в архитектуре, так же как и в жизни, без правильности линий не может быть чувства собственного достоинства. Вам скажут, что это старомодно. Странная вещь! Мы никогда не заботимся о том, чтобы сделать наши жилища воплощением основных принципов жизни; мы загромождаем дома обстановкой, всякой мишурой, устраиваем в комнатах какие-то ниши – что угодно, лишь бы развлекало глаз. Глаз должен отдыхать; сумеете добиться эффекта двумя-тремя мужественными линиями. Все дело в правильности линий, без нее вам не добиться чувства собственного достоинства.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

2

© Перевод. Н. Волжина, наследники, 2019

3

Удачное словцо (фр.).

4

От англ. jolly – веселый.

5

Старомодная (фр.).

Купить: https://tellnovel.com/golsuorsi_dzhon/saga-o-forsaytah

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)